



πολιτικά

ΛΟΓΟΣ  
Радек

Guy Debord

*La Société du Spectacle*

Gallimard

Paris 1969

Ги Дебор

*Общество спектакля*

Перевод с французского –  
С. Офертаса и М. Якубович

ΛΟΓΟΣ  
(Радек)

Москва 2000

ББК 87.3 – 4Фр.  
Д 29

Перевод с французского –  
С. Офертаса и М. Якубович  
Редактура перевода –  
Б. Скуратов  
Корректор – Е. Крейзер  
Художественное оформление –  
Анатолия Осмоловского

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО В РАМКАХ  
ПРОГРАММЫ “ПУШКИН” ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ И  
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В РОССИИ

OUVRAGE RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PROGRAMME  
D'AIDE À LA PUBLICATION “POUCHKINE” AVEC  
LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DES AFFAIRES  
ÉTRANGÈRES FRANÇAIS ET DE L'AMBASSADE DE  
FRANCE EN RUSSIE

**Дебор, Ги**

Д 29 Общество спектакля. Пер. с фр. С. Офертас и М. Якубович.  
Ред. Б. Скуратов. Послесловие А. Кефал. М.: Издательство  
“Логос” 2000. – 184 с.

ISBN 5-8163-0008-3

© Debord G. *La société du spectacles*. Gallimard. Paris, 1969.

© Издательство “Логос”. Москва, 2000.

© Художественное оформление. А. Осмоловский. Журнал “Радек”. Москва, 2000.

## СОДЕРЖАНИЕ

7	..... <i>Предисловие к третьему французскому изданию</i>
15	..... <i>Предисловие к четвертому итальянскому изданию</i>
23	..... <i>Глава 1 Завершенное разделение</i>
32	..... <i>Глава 2 Товар как спектакль</i>
39	..... <i>Глава 3 Единство и разделение в видимости</i>
48	..... <i>Глава 4 Пролетариат как субъект и как представление</i>
76	..... <i>Глава 5 Время и история</i>
87	..... <i>Глава 6 Зрелищное время</i>
93	..... <i>Глава 7 Обустройство территории</i>
99	..... <i>Глава 8 Отрицание и потребление в культуре</i>
111	..... <i>Глава 9 Материализованная идеология</i>
115	..... <i>Комментарий к Обществу спектакля</i>
175	..... <i>Вместо послесловия: Ситуация-I. Дебор и другие</i>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

к 3—му французскому изданию

*Общество спектакля* было в первый раз опубликовано в издательстве “Бюше Шастель” в Париже в ноябре 1967 года. События 1968-го сделали книгу известной. Книга, в которой я никогда не менял ни единого слова, переиздавалась с 1971 года в издательстве “Шан Либр”, которое в 1984 году после убийства редактора было названо именем Жерара Лебовичи. Затем регулярно, вплоть до 1991 года, следовала серия переизданий. Настоящее издание также остается строго тождественным изданию 1967 года. То же правило, само собой разумеется, будет использоваться и впредь для переиздания всех моих книг в “Галлимар”. Я не из тех, кто себя поправляет.

В изменении подобной критической теории до тех пор нет необходимости, пока не нарушаются общие условия продолжающегося периода истории, который эта теория впервые и смогла точно определить. Дальнейшее развитие этого периода только подтверждает и иллюстрирует теорию спектакля, изложение которой, здесь воспроизведенное, также может рассматриваться как историческое, но в менее возвышенном значении, ибо оно свидетельствует о том, какова была самая радикальная позиция в момент столкновений 1968 года, и, следовательно, о том, что же уже тогда можно было осознать. Даже последние простофили того времени, благодаря неотступно следовавшим за ними разочарованиям, теперь смогли наконец понять то, что же означало “отрицание жизни, ставшее видимым”, “утрата качества”, связанная с формой-товаром, или же “пролетаризация мира”.

Кроме того, в свое время я добавил и другие наблюдения, касающиеся самых заметных новшеств, которые проявились во всем последующем развитии того же самого процесса. В 1979 году (в связи с написанием предисловия к новому итальянскому переводу) я рассуждал о реальных изменениях, происходящих как в самой природе индустриального производства, так и в технологиях управления, которые стали признавать законными зрелищные факторы. В 1988 году в *Комментариях к Обществу спектакля* было достаточно четко показано, что предшествовавшее “мировое разделение зрелищных задач” между соперничающими царствами “сосредоточенной театрализации” и “театрализации рассредоточенной” отныне завершилось их слиянием в общую форму “интегрированной театрализации”.

Это слияние может быть коротко подытожено в изменении тезиса 105, который, относившись к тому, что происходило до 1967 года, различал еще предшествующие формы в соответствии с определенными конкретными практиками. Теперь, когда Великий Раскол классовой власти завершился полным примирением, нужно сказать, что упорядоченная практика интегрированной театрализации сегодня «изменила мир экономически», в то время как он сам «по-полицейски изменил восприятие». Ведь в данных обстоятельствах и сама полиция претерпевает существенные преобразования.

Только потому, что подобное слияние произошло в экономико-политической реальности всего мира, мир наконец смог формально провозгласить себя единым. Но также и потому, что общая ситуация, в которой повсеместно возникало такое разделение власти, оказалась столь серьезной, миру необходимо было объединиться как можно скорее, чтобы единым блоком участвовать в одной и той же, основанной на консенсусе, организации мирового рынка, зрелищно *фальсифицированной* и обеспеченной. Но поэтому он, в конечном счете, так и не сможет объединиться.

Тоталитарная бюрократия, «господствующий класс в период перехода к рыночной экономике», не очень-то верила в свою судьбу. Она знала, что является «недостаточно развитой формой господствующего класса», и хотела для себя лучшей доли. Тезис 58 еще раньше установил следующую аксиому: «Спектакль укоренен на территории экономики, ставшей изобильной, и именно из нее вызревают те плоды, что в конце концов стремятся полностью господствовать на рынке зрелищ».

Именно эта воля к модернизации и унификации спектакля, связанная со всеми остальными аспектами упрощения общества, привела русскую бюрократию в 1989 году к тому, чтобы вдруг, как один человек, обратиться к современной *идеологии* демократии – то есть к диктаторской свободе Рынка, смягченной признанием Прав человека-зрителя. Никто на Западе и дня не посвятил обсуждению значения и последствий столь экстраординарного информационного события. И этим только подтверждается прогресс зрелищной технологии. Она должна лишь регистрировать явление, наподобие геологического толчка. Феномен датируется и считается совершенно понятным., впрямь же воспроизводя только простейший сигнал – падение Берлинской стены, – не подлежащий обсуждению, как и все прочие *демократические сигналы*.



В 1991 году первые следствия модернизации проявились в полном распаде России. Там еще более откровенно, чем на Западе, выражается катастрофический результат общего развития экономики. Хаос – лишь последствие такового. Повсюду ставится все тот же угрожающий вопрос – вопрос, который довлеет над миром вот уже два столетия: как заставить работать бедных там, где рассеялись иллюзии и рухнуло насилие?

Тезис 111, указывающий на первые симптомы упадка России, окончательному падению коей мы только что были свидетелями, и предсказывающий скорое исчезновение мирового сообщества, которое, говоря сегодняшним языком, будет стерто из памяти компьютера, высказал стратегическое суждение, справедливость которого легко почувствовать: «Мировое разложение союза бюрократической мистификации является сегодня, в конечном счете, наиболее неблагоприятным фактором для современного развития капиталистического общества».

При чтении этой книги необходимо иметь в виду, что она была написана с сознательным намерением нанести ущерб обществу спектакля. В ней ничего не было преувеличено.

*30 июня 1992 года*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### к 4—му итальянскому изданию

Переводы этой книги, впервые изданной в Париже в конце 1967 года, появились уже в десятке стран. Чаще всего в одной стране конкурирующие издательства выпускали в свет сразу несколько переводов, – как правило, все они были плохими. Первые переводы, где бы они ни появлялись, были неточными и неправильными, за исключением Португалии и, может быть, Дании. Переводы на голландский и немецкий удались со второй попытки, хотя немецкий издатель и на этот раз пренебрег корректурой множества ошибок. Англичанам и испанцам нужно ждать третьего перевода, чтобы узнать, что я в действи-

гельности написал. Однако худшее ожидало нас в Италии, где в 1968 году издательство *De Donato* выпустило в свет самый безобразный перевод из всех существующих; впоследствии он был лишь частично улучшен двумя другими конкурирующими издательствами. Впрочем, Паоло Сальвадори, недолго думая, разыскал виновников этого произвола в их кабинетах и задал им жару, в буквальном смысле плюнул им в лицо. ибо так ведут себя хорошие переводчики при встрече с плохими. Достаточно сказать, что четвертый итальянский перевод, сделанный Сальвадори, оказался блестящим.

Крайняя несостоятельность стольких переводов, которые, за исключением четырех-пяти лучших, мною не контролировались, вовсе не доказывает того, что эта книга более сложна для понимания, чем какая-либо другая, которую и писать на самом деле не стоило. Вдобавок, нельзя сказать, что такая участь чаще всего постигает произведения подрывного характера, потому что, в этом конкретном случае, фальсификаторам по крайней мере не грозит судебный иск со стороны автора; а также потому, что привнесенный в текст идиотизм не вызовет особых попыток опровержения у идеологов буржуазии и бюрократии. Нельзя не заметить, что за последние годы большинство переводов, где бы они ни появлялись и даже если речь идет о классиках, скроены на один манер. Наемный интеллектуальный труд обычно стремится следовать закону промышленного производства периода упадка, по которому доход предпринимателя напрямую зависит от скорости производства и от низкого качества используемого материала. Это производство с гордостью освободилось от всякой заботы о вкусе публики с тех пор, как, сконцентрировав капитал и наращивая технические мощности, оно удерживает монополию на не обеспеченное качеством предложение на всем рыночном пространстве, и со все большей наглостью спекулирует на вынужденном подчиненном положении спроса и потере вкуса, этой немедленной реакции основной массы потребителей. Идет ли речь о квартире, говядине или о продукции невежественного переводчика, неизбежно напрашивается мысль о том, что теперь очень быстро и с гораздо меньшими затратами можно получить то, на что раньше потребовались бы долгие часы квалифицированного труда. А у переводчиков, и вправду, немного оснований корпеть над книгами, вдумываясь в их смысл, а перед этим — изучать их язык, поскольку почти все современные авторы и сами с очевидной поспешностью пишут книги, которые очень быстро выйдут из моды. Зачем же переводить то, чего не стоило писать и что никто не прочтет? Именно с этой стороны своей спе-

цифической гармонии система спектакля безупречна, в остальном она терпит крах.

Однако эта столь привычная практика большинства издателей не годится для такой книги, как *Общество спектакля*, интересующей иную публику и служащей иным целям. Существуют, сейчас это ясно как никогда, книги разного рода. Многие из них даже не открывают, и лишь очень немногие цитируют на стенах. Эти последние обязаны своей популярностью и силой убеждения тому, что презируемые спектаклем инстанции о них не говорят или говорят скупом, между прочим. Индивиду, которым предстоит разыгрывать собственную жизнь по правилам, предписанным историческими силами, на службе у которых они состоят, конечно же, захотят изучить документы в безупречно точном переводе. Несомненно, в условиях нынешнего перепроизводства и сверхконцентрированного распространения книжной продукции большинство произведений может иметь успех, а чаще неуспех, лишь в первые несколько недель после выхода в свет. Именно на этом средний представитель современного издательского дела строит и проводит в жизнь свою поспешную политику произвола, вполне годящуюся для книг, о которых что-то, причем неважно что, скажут лишь однажды. В данном случае этому издателю явно не удастся воспользоваться подобной привилегией: бессмысленно наспех переводить мою книгу, поскольку другие возобновят попытку и хорошие переводы придут на смену плохим.

Французский журналист, тот, что недавно выпустил огромный труд с целью возобновить идейный спор, несколькими месяцами позже объяснял свое фиаско не столько дефицитом идей, сколько нехваткой читателей. Так, он заявил, что мы живем в нечитающем обществе; что если бы Маркс сегодня опубликовал свой *Kapital*, ему пришлось бы прийти на телевидение, чтобы разъяснить свои намерения в вечерней литературной программе, а на следующий день о нем никто бы не вспомнил. Это забавное заблуждение хорошо отражает круг, его породивший. Естественно, если сегодня кто-то опубликует книгу, посвященную подлинной социальной критике, то он никогда не пойдет на телевидение и на любые беседы подобного рода; так что о его книге будут говорить и через десять, и через двадцать лет.

Сказать по правде, я думаю, что на свете нет никого, кто бы заинтересовался моей книгой, за исключением врагов существующего общественного строя и тех, кто действует в соответствии со своими убеждениями. Моя подкрепленная теорией уверенность на этот счет подтверждена эмпирическими наблюдениями за редкой критикой или

аллюзиями, которые моя книга вызывает у тех, кто удерживает или всего-навсего силится обрести полномочия публично выступать в спектакле, говорить перед другими, хранящими молчание. Все эти специалисты по иллюзорным дискуссиям, которые мы все еще ошибочно называем культурологическими и политическими, выстроили свою логику и культуру на логике той системы, которая может их ангажировать; не только оттого, что они были ею избраны, но в основном потому, что они от начала и до конца сформированы этой системой. Среди цитировавших эту книгу, признавая ее важность, мне до сих пор не встречался никто, кто рискнул бы сказать, хотя бы в самой общей форме, о чем, собственно, идет речь: им нужно было лишь создать впечатление, что они в курсе дела. В то же время казалось, будто все, кто обнаружил в ней какой-то недостаток, им одним и ограничились, ибо ни о чем другом они не говорили. Всякий раз отдельного недостатка вполне хватало, чтобы удовлетворить нашедшего. Один упрекнул книгу в том, что в ней не затронуты проблемы государства; другой в том, что она не считается с историей; третий отверг ее как иррациональный, неслыханный панегирик чистому разрушению; четвертый заклеил ее как тайное руководство всех правительств, образовавшихся со времени ее появления. Остальные пятьдесят незамедлительно пришли к диовинным выводам, равно свидетельствующим о сне разума. Где бы они ни писали об этом: в периодике, в книгах, в сочиненных по случаю памфлетах, — везде, за исключением лучшего, звучал все тот же тон капризного бессилия. А на заводах Италии, напротив, книга, насколько мне известно, нашла благодарных читателей. Рабочие Италии, которые сегодня могут подать пример своим товарищам во всех странах — своими неявками на работу, яростными забастовками, которых не смягчить отдельными уступками, своим осознанным отказом от работы, презрением к закону и ко всем государственным партиям, — достаточно хорошо ознакомились с содержанием *Общества спектакля* на практике, чтобы извлечь пользу из тезисов книги, прочитанной пусть даже в посредственном переводе.

Чаше всего комментаторы делали вид, будто не понимают, на что годна книга, которую невозможно отнести ни к одной категории интеллектуальной продукции, какую принимает во внимание все еще господствующее общество, ибо она не написана с точки зрения одной из поощряемых им профессий. Так что намерения автора показались неясными. Хотя здесь нет ничего таинственного. Клаузевиц писал во *Французской кампании 1815 года*: «Главное в любой стратегической

критике – точно поставить себя на место действующих лиц; нужно признать, что это зачастую очень трудно. Основная масса стратегической критики исчезла бы полностью или свелась бы к едва доступным для восприятия очертаниям, если бы только авторы захотели или смогли мысленно поставить себя на место действующих лиц».

В 1967 году я хотел, чтобы у *Ситуационистского Интернационала (СИ)* была своя теоретическая книга. СИ был тогда экстремистской группой, предпринимавшей максимум усилий по внедрению революционных устремлений в современное общество; нетрудно было разглядеть, что эта группа, уже одержав победу на почве теоретической критики и удачно применяя ее в практической агитации, приблизилась таким образом к кульминационной точке своей исторической миссии. Речь шла о том, чтобы эта книга участвовала в грядущих смутах, которые трансформировали бы ее на свой манер, неизбежно открывая тем самым широкую революционную перспективу.

Всем известна сильная склонность людей к бесполезному повторению упрощенных фрагментов старых революционных теорий, изношенность которых незаметна для них лишь потому, что они не пытаются применить их в сколько-нибудь эффективной борьбе за изменение условий, в которых они находятся в данный момент; в результате им не удается лучше понять, как эти теории, с разным успехом, могли использоваться в конфликтах прежних времен. Однако для тех, кто подходит к проблеме хладнокровно, не подлежит сомнению, что желающие действительно поколебать существующий общественный строй, должны сформулировать теорию, фундаментально разъясняющую его устройство; или, по меньшей мере, дать ему удовлетворительное объяснение. Как только эта теория будет обнародована, а произойдет это в условиях столкновений, нарушающих общественный покой, – даже до того, как она будет понята и усвоена, – повсюду усилится недовольство. Доселе сдерживаемое, оно превратится в озлобленность уже при самом смутном представлении о том, что имеется теоретическое разоблачение существующего порядка вещей. И лишь тогда, преисполнившись гнева и начав вести освободительную войну, все пролетарии смогут стать стратегами.

Несомненно, рассчитанная на это общая теория должна, прежде всего, избегать возможности показаться заведомо ложной и, таким образом, не должна подвергаться риску быть опровергнутой самим ходом событий. Но в то же время нужно, чтобы теория эта была абсолютно недопустимой. Нужно, чтобы она, к возмущенному остолбенению тех, кому нравится сама суть существующего миропорядка,

могла разоблачить его, обнаружив его истинную природу. Теория спектакля отвечает двум этим требованиям.

Первое достоинство точной критической теории состоит в непрерывном высмеивании всех прочих теорий. Так, в 1968 году, когда все остальные организованные течения, в порыве отрицания, ознаменовавшем начало упадка форм господства того времени, шли защищать собственную отсталость и мелкие амбиции, ни одно из них не имело книги современной теории и не признавало ничего современного во власти класса, которую им предстояло свергнуть, а ситуационисты были способны выдвинуть единственную теорию страшного майского бунта; только она принимала во внимание яростное недовольство, о котором никто раньше не говорил. Кто оплакивает консенсус? Мы убили его. *Cosa fatta capo ha* \*.

За пятнадцать лет до этого, в 1952 году, в Париже, четверо или пятеро господ с сомнительной репутацией решили искать путей преодоления искусства. Смелое продвижение в выбранном направлении принесло счастливые плоды: оказалось, что старые линии укрепления, о которые разбивались прежние попытки социальной революции, теперь затоплены и перевернуты. Мы нашли повод возобновить попытку. Преодоление искусства — это продвижение на северо-запад по географической карте истинной жизни, которую не переставали искать на протяжении более чем векового периода, в особенности после возникновения современной саморазрушительной поэзии. Предыдущие попытки, в которых пропало без вести столько исследователей, никогда не открывали подобных перспектив. Возможно, потому, что им на разграбление еще оставалось кое-что от старой творческой провинции а также и потому, что знамя революций до этого, казалось, держали другие, более опытные руки. Но никогда это дело не терпело столь сокрушительного поражения, не оставляло после себя столь пустынного поля боя, как в момент нашего появления. Я думаю, что воспоминания об этих событиях служат лучшим разъяснением идей и стиля *Общества спектакля*. Что касается самой этой вещи, если вы сообразовали ее прочесть, то убедитесь: я не проспал и не растратил на пустые игры пятнадцать лет, проведенные в размышлениях о разрушении государства.

В этой книге нельзя менять ни слова; кроме трех-четырех опечаток все в ней осталось неизменным после двенадцати переизданий, выдержанных ею во Франции. Мне льстит сознание того, что я представляю чрезвычайно редкий для современности пример: я писал и не был тут же опровергнут обстоятельствами; меня не опровергли ни

разу, в то время как все остальные были опровергнуты сотни и тысячи раз. Я не сомневаюсь, что выдвинутые мной положения найдут себе подтверждение в конце этого века и даже позже. Причина тому проста: я понял основополагающие факторы спектакля «в ходе развития и в соответствии с их эфемерным характером», то есть рассматривая в целом движение истории, которое смогло привести к установлению этого порядка, а теперь начинает его разрушать. На этой шкале одиннадцать лет, прошедшие с 1967 года, со всеми их конфликтами, известными мне не понаслышке, были лишь мгновением в неизбежных последствиях написанного; хотя для самого спектакля эти годы ознаменовались появлением и сменой шести или семи поколений мыслителей, одни из них оказались убедительнее других. За это время спектакль всего лишь более точно совпал со своим концептом, а реальное движение отрицания спектакля разрослось вширь и вглубь.

На самом деле, само общество спектакля добавило этой книге нечто, в чем она, думается мне, не нуждалась: еще более весомые и убедительные примеры. Мы могли наблюдать, как разрастается фальсификация, доходя до тривиальнейших вещей, словно липкий туман, сгустившийся над повседневностью. Мы видели, как возвели в абсолют, вплоть до “телематического” безумия, технический и полицейский контроль над людьми и силами природы, контроль, сбой в котором растут по мере совершенствования его технических средств. Мы видели, как развилась, в себе и для себя, государственная ложь, забыв о конфликтной связи с истиной и правдоподобием настолько, что теперь она может позабыть о самой себе и с каждым часом изменяться. Италия недавно имела возможность наблюдать эту технику, самый ее пик, в связи с событиями вокруг Альдо Моро и его убийством, однако и эта высота будет превзойдена, здесь или где-нибудь еще. Версии итальянских властей, скорее ухудшенной, нежели улучшенной, сотней последовательных поправок, о чем считали своим долгом открыто заявить все комментаторы, не поверили ни на секунду. Ее задача состояла не в том, чтобы в нее поверили, а в том, чтобы быть единственной на витрине и чтобы потом о ней забыли, как забывают о плохой книге.

Это было похоже на мифологическую оперу, поставленную с техническим размахом, где герои-террористы превращались то в лис, чтобы поймать свою добычу, то во львов, чтобы никого не бояться, пока жертва находится у них в лапах, то в баранов, чтобы все это не причинило ни малейшего вреда режиму, с которым им предстоит поме-

ряться силами. Говорят, что им посчастливилось иметь дело с самой недееспособной полицией, так что им без труда удалось проникнуть в самые высокие сферы. В этом объяснении мало диалектики. Подрывная организация, которая связала бы своих членов с органами госбезопасности, если только она уже не внедрила их туда на несколько лет раньше, чтобы они лояльно выполняли свой долг до тех пор, когда этим можно будет воспользоваться, должна быть готова к тому, что ее манипуляторами время от времени тоже кто-то манипулирует; и таким образом, ей следует отказаться от олимпийской уверенности в собственной безнаказанности, столь характерной для руководителей штаба “красных бригад”. Но ко всеобщему одобрению своих сторонников, итальянское государство поступило еще лучше. Оно, как и любое другое государство, задумало внедрить агентов своих спецслужб в сеть подпольных организаций, где так легко впоследствии сделать быструю карьеру и занять место в руководстве, в первую очередь свергая собственных начальников; так поступил с царской охранкой Малиновский, обманувший даже ловкого Ленина, или Азеф, который, возглавив боевую организацию партии эсеров, непосредственно подготовил убийство премьер-министра Столыпина. Лишь одно злосчастное совпадение воспрепятствовало доброй воле государства: его секретные службы были расформированы. До сих пор секретные службы никогда не прекращали существование так, как, например, прекращается загрузка гигантского танкера в прибрежных водах или как исчезает доля современного промышленного производства в Севесо (Seveso). Сохранив свои архивы, своих доносчиков и действующих офицеров, они всего лишь сменили имя. Так, итальянская Служба военной информации (SIM), действовавшая при фашистском режиме, известная своим саботажем и заказными убийствами за рубежом, при христианских демократах стала Оборонной службой информации (SID). Впрочем, когда на компьютере было запрограммировано нечто вроде действующей модели “красной бригады”, этой мрачной пародии, от которой ждали мыслей и действий в случае необходимого исчезновения этого государства, сбой в программе (ведь известно, что все эти машины зависят от бессознательного тех, кто ими управляет) заставил присвоить единственному псевдоконцепту, автоматически воспроизведенному по модели “красной бригады”, все то же клеймо, которое в сокращении *SIM* расшифровывается на этот раз как Национальное общество многонациональности. *ASID*, «омытая итальянской кровью», недавно подверглась роспуску; как признает государство – *post festum*, ведь именно эта служба начиная с 1969 года была прямым исполнителем длинной



серии массовых убийств; как правило, но не всегда, это были взрывы, которые приписывались поочередно то анархистам, то неофашистам, то ситуационистам. Теперь, когда ту же самую работу, в кои-то веки с гораздо большей продуктивностью, выполняют “красные бригады”, *SID*, естественно, не может с ними справиться: не может, поскольку она распушена. В Секретной службе, достойной этого названия, все секретно, даже ее ликвидация. Таким образом, невозможно разобраться, какой процент содеянного приписывать почетной отставке [*SID*], какой – “красным бригадам”, а какой (например, поджог кинотеатра в Абадане) – самому иранскому шаху; также нельзя определить, что было тайно уничтожено самим государством, возмущенным многократным перевыполнением собственных распоряжений. Стало ясно: отныне оно без колебаний будет убивать сыновей Брута, чтобы заставить уважать свои законы. Непреклонный отказ пойти ни малейшие уступки ради спасения Моро в конце концов стал доказательством незыблемых добродетелей республиканского Рима.

Джорджо Бокка, прославивший лучшим аналитиком среди итальянских журналистов, в 1975 году первым попался на удочку *Правдивого рапорта* цензора, введя в заблуждение всю нацию или, во всяком случае, квалифицированных сотрудников газет, но не отступился от своей профессии, несмотря на столь досадное доказательство собственной наивности. То, что она была доказана путем такого научного эксперимента, возможно, стало для него благом, иначе мы бы не сомневались, что он написал из страха или продажности книгу *Моро – итальянская трагедия*, где поспешно заглатывает, не пропуская ни единой, все расхожие мистификации, чтобы тут же изрыгнуть их обратно, объявив превосходными. Он подходит к сути вопроса, естественно, ставя все с ног на голову, лишь однажды, в следующем пассаже: «Сегодня ситуация изменилась: имея за собой террор *красных бригад*, горстки рабочих-экстремистов могут противостоять или пытаться противостоять политике профсоюзов. Те, кто присутствовал на собраниях рабочих на таких заводах, как “Альфа-Ромео” в Ареше, могли наблюдать, как группам экстремистов, насчитывающим не более сотни участников, удалось разместиться в первом ряду и выкрикивать обвинения и оскорбления, а коммунистической партии пришлось с этим смириться». Нет ничего понятнее того, что революционно настроенные рабочие оскорбляют сталинистов при почти единой поддержке своих товарищей. Что может быть естественнее, раз уж они собрались делать революцию? Неужели им, наученным долгим опытом, неизвестно, что для начала нужно прогнать ста-

линистов со всех собраний? Из-за того, что они не смогли этого сделать, в 1968 году потерпела крах революция во Франции, а в 1975 году – в Португалии. Будет полным безумием или мерзостью полагать, будто “горстки рабочих-экстремистов” могут достичь того необходимого уровня, когда за ними пойдут террористы. Совсем наоборот, именно из-за того, что большинство итальянских рабочих избежало вербовки в профсоюзно-сталинистскую полицию, и заработали “красные бригады”, чей непоследовательный и слепой терроризм мог лишь помешать рабочим. А средства массовой информации не упустили случая без тени сомнения признать в этом ускоренный отрыв рабочих от борьбы и вызывающее беспокойство поведение их руководителей. Бокка намекает, что сталинисты вынуждены сносить оскорбления, вполне заслуженные за последние шестьдесят лет, иначе террористы, которых держат в резерве независимые рабочие, грозят им физической расправой. Это всего лишь особенно грязная бокковская инсинуация, потому что до сих пор, и это всем известно, “красные бригады” последовательно воздерживались от личных расправ над сталинистами. Какую бы видимость они ни создавали, периоды их активности не случайны и жертвы они выбирают не как им заблагорассудится. Такой климат позволяет констатировать неизбежный рост периферийного слоя мелкого открытого терроризма, который более или менее контролируют и пока еще терпят, откуда, как из рыбного садка, по желанию всегда можно выловить и подать на блюде несколько виновных; но “ударные силы” могли состоять только из профессионалов; об этом свидетельствует каждая деталь их стиля.

Итальянский капитализм, а вместе с ним и его правительственный персонал, значительно расходятся во мнениях по вопросу, жизненно важному и в высшей степени туманному, – вопросу, касающемуся использования сталинистов. Некоторые современные сектора крупного частного капитала поддерживали и по сей день решительно поддерживают эту идею, другие, пользующиеся ощутимой поддержкой финансового руководства предприятий с долей государственного участия, настроены более враждебно. Высшие государственные чиновники имеют значительную свободу действий: ведь когда корабль получил пробоину, решения капитана важнее воли судовладельца, – однако и в их рядах нет единства. Будущее каждого клана зависит от того, насколько ему удастся навязать свои доводы, доказывая их на практике. Моро верил в “исторический компромисс”, то есть в способность сталинистов окончательно разбить революционное рабо-

чее движение. Представители другого направления, те, которые в настоящее время командуют руководителями “красных бригад”, не верили в это или по меньшей мере считали, что не стоит слишком беречь сталинистов ради жалких услуг, которые те оказали или еще окажут, что их нужно грубее подстегивать, чтобы они не наглели. Как видно, этот анализ отнюдь не бесполезен. Похищение Моро стало началом ударов по “историческому компромиссу”, воплотившемуся наконец в парламентском акте, а сталинская партия продолжала прикидываться, что верит в независимость “красных бригад”. Заложнику сохраняли жизнь до тех пор, пока верили в возможность продолжать унижение и замешательство его друзей, которые подвергались шантажу и благородно лишались чувств, будучи не в состоянии понять, чего ждут от них неведомые варвары. С ним тут же покончили, стоило лишь сталинистам показать зубы, публично заговорив о “темных делах”; Моро умер в разочаровании. На самом деле, у “красных бригад” другие, гораздо более широкие функции и интересы: они состоят в приведении в замешательство или дискредитации пролетариев, реально поднявшихся против государства, и, возможно, даже ликвидации некоторых из них, наиболее опасных. Сталинисты одобряют эту функцию, ибо она облегчает их нелегкую задачу. Если то, что задевает их самих, переходит границы, они стараются это пресечь: путем публичных выступлений в подходящий момент, где обвиняком протаскивают инсинуации, или через конкретные угрозы, которые выкрикиваются во время закрытых переговоров с государственной властью. Их основное оружие разубеждения – в возможности внезапно сказать все, что им известно о “красных бригадах” с самого момента их создания. Однако всем ясно, что они не смогут воспользоваться этим оружием, не нарушив “исторического компромисса”; и что, таким образом, они сами искренне желают хранить молчание о былых подвигах самого *SID*. Что сделает со сталинистами революция? Мы продолжаем их теснить, хотя и без размаха. Когда, через десять месяцев после похищения Моро та же непобедимая “красная бригада” впервые убила синдикалиста-сталиниста, так называемая коммунистическая партия отреагировала мгновенно, но лишь на уровне протокола, угрожая своим союзникам принуждением представлять себя отныне партией лояльной и конструктивной, но находящейся на стороне большинства, а не на стороне и в большинстве. Горбатого могила исправит, и сталинист всегда будет чувствовать себя как рыба в воде повсюду, где пахнет скрытым государственным преступлением. Чем их может оскорбить атмосфера дискуссий в верхах

итальянской власти, когда за пазухой они держат нож, а под столом — бомбу? Не в этом ли стиле улаживались споры, к примеру, между Хрущевым и Берия, Кадаром и Надем, Мао и Линь Бяо? А впрочем, сами руководители итальянского сталинизма в молодости были мясниками, во времена их первого исторического компромисса, когда, вместе с другими служащими Коминтерна, они взяли на себя ответственность за контрреволюцию на службе у Испанской демократической республики в 1937 году. Не кто иной, как их собственная “красная бригада”, похитила Андреса Нина и убила в одной из секретных тюрем.

Эти печальные факты, доподлинно известные многим итальянцам, как и многие-многие другие, тотчас вышли на поверхность. Но их нигде не обнародовали, так как у одних не было возможности, а у других — желания это сделать. Именно в этой точке анализа мы решили апеллировать к “зрелищной” политике терроризма, и не потому, что иногда террористы действуют лишь ради того, чтобы о них заговорили, как не перестают вульгарно утверждать журналисты и профессора, побуждаемые услужливой деликатностью. Италия отражает в себе социальные противоречия всего мира и пытается, известными методами, объединить в одной стране в рамках Священного карательного союза правящий буржуазный и тоталитарно-бюрократический класс, который уже открыто действует во всем мире, при экономической и полицейской поддержке всех государств; хотя и здесь не обходится без некоторых споров и сведения счетов “по-итальянски”. Италия, будучи сегодня страной, наиболее продвинувшейся в скольжении к пролетарской революции, одновременно является самой современной лабораторией международной контрреволюции. Другие правительства, вышедшие из старой буржуазной “доспектаклевой” демократии, с восторгом смотрят на итальянское правительство, на невозмутимость, которую ему удастся сохранять в самом эпицентре всех разрушений, на спокойное достоинство, с которым оно восседает в грязи. Это умение им предстоит применять у себя в течение долгого времени.

На самом деле, правительства, а также подвластные им и дублирующие их службы повсюду стремятся стать еще скромнее. Объятые ужасом, они довольствуются уже тем, что выдают за спокойную рутину текущие дела, находящиеся под их управлением, с помощью трюков: этот процесс становится все более странным и выходит из под их контроля. Вслед за ними, согласно духу времени, сам зрелищный товар претерпел удивительные изменения в типе ложного дока-

зательства. Он представлял в качестве исключительных благ, ключа к высшему, чуть ли не элитарному, существованию вещи, самые что ни на есть обыкновенные и посредственные: автомобиль, ботинки, кандидатскую степень по социологии. Сегодня он вынужден представлять нормальными и хорошо знакомыми вещи, ставшие по-настоящему неординарными. О чем речь? О хлебе, вине, помидорах, яйцах, домах и городах? Конечно же, нет, поскольку цепь внутренних трансформаций, временно экономически выгодная тем, кто удерживает средства производства, сохранила этим вещам имя и по большей части форму, начисто лишив их вкуса и содержания. Однако с полной уверенностью можно сказать, что различные потребляемые блага неизменно отвечают традиционным требованиям, и это доказывается тем фактом, что ничего другого больше не существует, а значит, не с чем больше сравнивать. Получилось так, что очень немногие знают, как найти истину там, где она еще существует, и что ложное может законно называть себя истинным при исчезновении последнего. Принцип, господствующий в сфере продовольствия и жилья, распространяется на все без исключения, вплоть до книг или последних подобию демократических дебатов, что мы и пытаемся продемонстрировать.

Основное противоречие в господстве спектакля во время кризиса состоит в том, что оно потерпело крах в своей сильнейшей позиции: в удовлетворении элементарных материальных потребностей, исключавших прочие, но считавшихся достаточными, чтобы снискать воспроизводимое одобрение массы производителей-потребителей. Но именно удовлетворение материальных потребностей было запачкано и перестало им обеспечиваться. Общество спектакля повсюду начиналось с принуждения, с обмана, с крови; но при этом оно сулило счастливое продолжение. Оно думало, что его любят. Теперь оно больше ничего не обещает. Оно больше не говорит: «Все, что явлено, — хорошо, все, что хорошо, — явлено». Оно просто говорит: «Вот так-то». Оно откровенно сознается в том, что, в сущности, уже не поддается изменениям; хотя сама его природа — это изменения: дурная трансмутация каждой отдельной вещи. Оно утратило все общие иллюзии о себе самом.

Все эксперты по управлению и все их компьютеры объединились в постоянном мультидисциплинарном совете, чтобы найти средство излечить больное общество или по крайней мере до наступления комы поддерживать его в том же состоянии, сохранять видимость выживания, как у Франко или Бумедьена. Старая тосканская народная пе-

сенка говорит об этом короче и мудрее: «*E la vita non è la morte, — E la morte non è la vita. — La canzone è già finita*»<sup>\*</sup>.

Тот, кто внимательно прочтет эту книгу, увидит, что она не дает никаких гарантий победы революции, как и длительности существования ее свершений, и тернистых путей, которыми ей предстоит пройти, и еще меньше гарантий ее способности, подчас легкомысленно преувеличенной, принести каждому полное счастье. Менее, чем всякая другая, моя историческая и стратегическая концепция может полагать, что жизнь должна быть совершенной идиллией лишь потому, что нам это будет приятно; что лишь злопыхательство нескольких властей предрержащих служит виной очередных бед. Каждый воспитан на собственных творениях; пассивность отходит ко сну, как только приготовит себе ложе. Самый значительный результат катастрофического разложения классового общества в том, что, впервые в истории, преодолен старый вопрос о том, насколько большинство людей любит свободу: теперь они будут вынуждены ее полюбить.

Нужно лишь признать сложность и размах задач революции, которая стремится к установлению и сохранению бесклассового общества. Она может с достаточной легкостью начаться повсюду, где автономные пролетарские собрания не будут признавать никакой другой власти, кроме собственной, и ничьей собственности, где, ставя свою волю выше любых законов и специализаций, они запретят разделение людей, рыночную экономику и государство. Но победа будет одержана лишь тогда, когда революция наступит повсеместно, не оставив ни пяди земли существующим формам общества отчуждения. И тогда мы вновь увидим Афины и Флоренцию, открытые для всех, раскинувшиеся по всему мировому пространству, которые, победив своих врагов, смогут с радостью посвятить себя подлинным разногласиям и бесконечными столкновениями исторической жизни.

Кто может верить в исход, менее радикальный в своей реалистичности? Под каждым проектом и каждым результатом нелепого и несчастливости настоящего можно написать слова *Менэ, текел, фарес* — «взвешено, измерено, сосчитано», объявляющие неминуемый крах всех призрачных городов. Дни этого общества сочтены; его основания и достоинства были взвешены и оказались слишком легкими; его обитатели разделились на две части, одна из которых хочет его исчезновения.

Январь 1979 года

<sup>\*</sup> Конец — делу венец (итал.) — Прим. перев.

<sup>\*\*</sup> Жизнь не смерть, — А смерть не жизнь. — Вот п песенке конец. — Прим. перев.

## ГЛАВА 1

### ЗАВЕРШЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ

Несомненно, наше время... предпочитает образ – вещи, копию – оригиналу. представление – действительности. видимость – бытию... Ибо для него *священна* только *иллюзия*, *истина* же профанна. Более того, в глазах наших современников святость возрастает в той мере, в какой уменьшается истина, и растет иллюзия. так что высшая степень иллюзорности представляет для них высшую степень святости.

*Л. Фейербах. Сущность христианства. Предисловие ко второму изданию*

1

Вся жизнь обществ, в которых господствуют современные условия производства, проявляется как необъятное нагромождение *спектаклей*. Все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление.

2

Образы, которые отслаиваются от каждого аспекта жизни, сливаются в одном непрерывном движении, в котором единство этой жизни уже не может быть восстановлено. Реальность, рассматриваемая *по частям*, разворачивается в своем обобщенном единстве в качестве *особого* псевдомира, подлежащего только созерцанию. Специализация образов мира оказывается завершенной в ставшем автономным мире образов, где обманщик лжет себе самому. Спектакль вообще, как конкретная инверсия жизни, есть автономное движение неживого.

3

Спектакль одновременно представляет собой и само общество, и часть общества, и *инструмент унификации* общества. Как часть общества, он явно выступает как сектор, сосредоточивающий на себе всякий взгляд и всякое сознания. По причине самой своей *обособленности* этот сектор оказывается средоточием заблуждающегося взгляда и ложного сознания; а осуществляемая им унификация – не чем иным, как официальным языком этого обобщенного разделения.

4

Спектакль – это не совокупность образов, но общественное отношение между людьми, опосредованное образами.

5

Спектакль нельзя понимать ни как злоупотребление неким миром визуальности, ни как продукт массированного распространения образов. Скорее, это мировоззрение, *Weltanschauung*, ставшее действенным и выраженным материально. Это обьективировавшееся видение мира.

6

Спектакль, взятый в своей тотальности, есть одновременно и результат, и проект существующего способа производства. Он не является неким дополнением к реальному миру, его надстроенной декорацией. Он есть средоточие нереальности реального общества. Во всех своих частных формах, будь то информация или пропаганда, реклама или непосредственное потребление развлечений, спектакль конституирует наличную модель преобладающего в обществе образа жизни. Он есть повсеместное утверждение выбора, *уже осуществленного* в производстве, и его последующее применение. Аналогично этому форма и содержание спектакля служат тотальным оправданием условий и целей существующей системы. Но спектакль является еще и *перманентным присутствием* этого оправдания, ибо он занимает основную часть времени, проживаемого вне рамок современного производства.

7

Разделение само является частью единства мира, совокупной социальной практики, расщепляющейся на образ и действительность. А социальная практика, перед которой разыгрывается не зависящий от нее спектакль, есть также и реальная целостность, которая содержит в себе спектакль. Но расщепление этой целостности до такой степени калечит ее, что вынуждает представлять сам спектакль как ее цель. Язык спектакля конституируется посредством *знаков* господствующего производства, в то же самое время являющихся и конечной целью этого производства.

8

Нельзя отвлеченно противопоставлять спектакль и производительную общественную деятельность, ибо это раздвоение само раздвоено. Спектакль, оборачивающий реальное, в действительности является произведенным. В то же время переживаемая действительность материально заполняется созерцанием спектакля и в себе самой воспроизводит зрительный порядок, придавая ему позитивное обосно-



вание. Объективная реальность предстает с двух сторон. Каждое понятие, подобным образом закрепленное, основано лишь на переходе в противоположное, и, таким образом, действительность возникает в спектакле, а спектакль является действительностью. Это взаимное отчуждение есть сущность и опора существующего общества.

9

В *реально обращенном* мире истинное есть момент ложного.

10

Понятие спектакля объединяет и объясняет огромное разнообразие видимых явлений. Их различия и контрасты являются мнимостями этой социально организованной видимости, которая сама должна быть признана в своей всеобщей истинности. Спектакль, рассматриваемый сообразно его собственной организации, есть *утверждение* видимости и утверждение всякой человеческой, то есть социальной, жизни как простой видимости. Но критика, которая добирается до истины спектакля, выявляет его как видимую *негацию* жизни, как отрицание жизни, *ставшее видимым*.

11

Чтобы описать спектакль, его формирование, функции и силы, стремящиеся к его распаду, нужно искусственно различать неразделимые элементы. *Анализируя* спектакль, мы в какой-то мере говорим самим языком спектакля, тем самым переходя на методологическую территорию того общества, которое и выражает себя в спектакле. Но спектакль есть не что иное, как смысл целостной практики определенной социально-экономической формации, ее способ *распределения времени*. Это как раз тот исторический момент, что включает нас.

12.

Спектакль предстает как одна огромная позитивность, неоспоримая и недоступная. Он не говорит ничего, кроме того, что «то, что является, — благо, и то, что благо, — является». Отношение, которого он в принципе требует, есть то пассивное приятие, каковое он уже фактически обрел благодаря своей манере являться без возражений, обладая монополией на явленное.

13

Фундаментально тавтологический характер спектакля вытекает из того простого факта, что его средства представляют собой в то же время и его цель. Он — солнце, никогда не заходящее над империей

современной пассивности. Он покрывает всю поверхность мира и беспредельно купается в собственной славе.

14

Общество, базирующееся на современной индустрии, не является зрелищным случайно или поверхностно – в самой своей основе оно является *зрительским*. В спектакле, этом образе господствующей экономики, цель есть ничто, развитие – все. Спектакль не стремится ни к чему иному, кроме себя самого.

15

И в качестве необходимого украшения производимых сегодня предметов, и в качестве общего обоснования рациональности системы, и в качестве передового сектора экономики, непосредственно фабрикующего все возрастающее множество образов- объектов, спектакль есть *основное производство* современного общества.

16

Спектакль подчиняет себе живых людей в той мере, в какой их уже всецело подчинила экономика. Он есть не что иное, как экономика, развивающаяся ради самой себя. Он представляет собой верное отражение производства вещей и неверную объективацию производителей.

17

Первая фаза господства экономики над общественной жизнью в отношении определения любого человеческого творения повлекла за собой очевидное вырождение *быть* в *иметь*. Настоящая фаза тотального захвата общественной жизни накопленными плодами экономики ведет к повсеместному сползанию *иметь* в *казаться*, из которого всякое действительное «иметь» должно получать свое высшее назначение и свой непосредственный престиж. В то же время всякая индивидуальная реальность становится социальной, непосредственно зависящей от общественной власти и ею же сфабрикованной. Только в том, что она *не есть*, ей и дозволено являться.

18

Там, где реальный мир раскладывается на элементарные образы, элементарные образы становятся реальными сущностями, а действительные мотивации – гипнотическим поведением. Спектакль, как тенденция предъявлять мир, который уже не схватывается непосредственно, через различные специализированные опосредования, полагает зрение привилегированным человеческим чувством, каковым в пре-

жие эпохи было осязание. Это самое абстрактное, наиболее подверженное мистификации чувство соответствует общей абстрактности современного общества. Но спектакль нельзя просто отождествлять со зрением, даже в сочетании со слушанием. Он есть то, что ускользает от деятельности людей, от пересмотра и исправления их творчества. Он противоположен диалогу. Повсюду, где существует независимая *репрезентация*, воссоздается спектакль.

19

Спектакль – наследник всей *слабости* западного философского проекта, представлявшего собой понимание деятельности, в котором первенство принадлежало категориям *видения*; подобно этому сегодня он базируется на непрерывном разворачивании точной технической рациональности, происшедшей из этого образа мысли. Он не делает реальной философию – он философизует реальность. И конкретная жизнь каждого вырождается в *умозрительный* космос.

20

Философия, как власть обособленного мышления и мышление обособленной власти, сама по себе никогда не могла превзойти теологию. Спектакль – это материальная реконструкция религиозной иллюзии. Зрелищная техника не развеяла облака религии, куда прежде люди помещали собственные отделенные от них способности, – она лишь вновь связала их с земной юдолью. Таким образом самая что ни на есть земная жизнь становится непроницаемой и затхлой. Она уже не отправляет на небеса, но лелеет у себя свою абсолютную отверженность, свой обманчивый рай. Спектакль – это техническая реализация изгнания человеческих способностей в потустороннее – завершенное расщепление внутри человека.

21

По мере того, как необходимость оказывается социально пригрезившейся, греза становится необходимостью. Спектакль есть дурной сон закабаленного современного общества, который, в конечном счете, выражает лишь только его желание спать. И спектакль – страж этого сна.

22

То, что практическая мощь современного общества отделилась от себя самой и из спектакля была построена некая независимая империя, объясняется только тем, что этой мощной производительной

практике все-таки не хватало связности и она так и продолжала оставаться в противоречии сама с собой.

23

В корне спектакля – древнейшая общественная специализация, специализация власти. Таким образом, спектакль является специализированным родом деятельности, заключающейся в том, чтобы говорить от имени других. Это дипломатическое представительство иерархического общества перед самим собой, откуда устраняется всякое иное слово. И здесь самое современное – это также самое архаическое.

24

Спектакль – это непрерывная речь, которую современный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог. Это автопортрет власти в эпоху ее тоталитарного управления условиями существования. В отношениях спектакля фетишистская видимость чистой объективности скрывает их характер межчеловеческих и межклассовых отношений; поэтому кажется, будто вторая природа своими фатальными законами подчиняет себе наше окружение. Но спектакль не является необходимым продуктом технологического развития, которое рассматривается как развитие *естественное*. Напротив, общество спектакля представляет собой форму, избирающую собственное технологическое содержание. Если спектакль, взятый в ограниченном аспекте «средств массовой коммуникации», самом подавляющем из его поверхностных проявлений, может казаться заполняющим общество как простой инструментарий, то факт этого не есть нечто нейтральное: этот инструментарий свойственен его тотальному саморазвитию. Если в эпоху, когда развиваются подобные технические средства, общественные потребности могут удовлетворяться только лишь через их опосредование, если административное управление этим обществом и любые сношения между людьми могут осуществляться теперь только через посредничество этой власти мгновенного сообщения, то это только потому, что это «сообщение», в сущности, является *однонаправленным*, так что его концентрация ведет к накоплению в руках администрации существующей системы средств, которые и позволяют ей продолжать это, уже предопределенное, администрирование. Повсеместное расщепление, производимое спектаклем, неотделимо от современного *Государства*, то есть от обобществленной формы социального расслоения, продукта общественно-го разделения труда и орудия классового господства.

25

*Разделение* есть альфа и омега спектакля. Институционализация общественного разделения труда, формирование классов сконструировали первое сакральное созерцание, мифический строй, в который изначально облеклась всякая власть. Священное оправдывало космический и онтологический порядок, который соответствовал интересам господ, оно растолковывало и приукрашивало то, что общество *не могло осуществить*. Следовательно, всякая разделенная власть была зрительной, но всеобщая приверженность такому неподвижному образу означала только всеобщее признание за бедными права на воображаемое продолжение реальной общественной деятельности, еще широко ощущаемой как объединяющее условие. Современный спектакль, наоборот, выражает то, что общество *может осуществить*, но в этом выражении *дозволенное* абсолютно противопоставляется *возможному*. Спектакль – это сохранение бессознательности при практическом изменении условий существования. Он является собственным продуктом и сам учреждает собственные правила: он – псевдо-сакральное. Он демонстрирует то, что он *есть*, – мощь общественного разделения, развивающуюся сама по себе, во всевозрастающей производительности, через постоянное увеличение изощренности в разделении труда, через дробление жестов, теперь подчиненных независимому движению машин; мощь, работающая ради непрерывно расширяющегося рынка. Всякая общность и всякое критическое чувство размываются в процессе этого движения, в котором силы, которые могли бы расти посредством разделения, еще не обретенны.

26

С возведенным в принцип разделением трудящегося и его продукта утрачивается всякая единая точка зрения на выполняемую деятельность, всякая прямая личная коммуникация между производителями. В соответствии с прогрессирующим накоплением отделенных продуктов и концентрацией процесса производства единство и коммуникация становятся исключительным атрибутом управления системой. Результатом экономической системы разделения является *пролетаризация* мира.

27

Благодаря самому успеху разделенного производства в качестве производства разделенного фундаментальный опыт, связанный в примитивных обществах с неким основным трудом, сейчас перемеща-

ется от полюса, стимулирующего развитие системы, к некоему не-труду, к бездеятельности. Но эта бездеятельность ни в чем не свободна от производственной деятельности – напротив, она от нее зависит, она есть тревожное и восторженное подчинение потребностям и результатам производства, она сама является продуктом его рациональности. Невозможна свобода вне деятельности, но в рамках спектакля всякая деятельность отрицается, равно как реальная деятельность оказывается полностью захваченной ради повсеместного достижения подобного результата. Таким образом, современное “освобождение труда”, увеличение досуга никоим образом не являются освобождением в труде, как и освобождением созданного этим трудом мира. Ничто из похищенной из труда активности не может быть обретоно вновь в подчинении его результату.

28

Экономическая система, основанная на разобщении, есть *циклическое* производство разобщения. Разобщение служит основанием для технологии, а технологический процесс, в свою очередь, служит разобщению. От автомобиля до телевизора, все *блага, селекционированные* зрительской системой, служат также ее орудиями для постоянного упрочения условий разобщенности «одиноких толп». Спектакль снова и снова со всевозрастающей конкретностью воспроизводит свои собственные предпосылки.

29

Истоком спектакля является утрата единства мира, и гигантская экспансия современного спектакля выражает полноту этой утраты: абстрагирование всякого частного труда и всеобщее абстрагирование совместного производства прекрасно передаются в спектакле, чей *конкретный способ существования* как раз и является абстрагированием. В спектакле одна часть мира *представляет себя* перед всем миром и является высшей по отношению к нему. Спектакль есть лишь обыденный язык этого разделения. То, что объединяет зрителей, представляет собой лишь необратимую связь с тем самым центром, который и поддерживает их разобщение. Спектакль воссоединяет разделенное, но воссоединяет его *в качестве разделенного*.

30

Отчуждение зрителя в пользу созерцаемого объекта (который является результатом его собственной бессознательной деятельности) выражается следующим образом: чем больше он созерцает, тем меньше он живет, чем больше он соглашается признавать себя в господ-

ствующих образах потребностей, тем меньше он понимает собственное существование и собственное желание. Внешний характер спектакля по отношению к человеку действующему проявляется в том, что его собственные поступки принадлежат уже не ему самому, но другому – тому, кто ему их представляет. Вот почему зритель нигде не чувствует себя дома, ибо повсюду – спектакль.

31

Трудящийся не производит самого себя, он производит некую независимую мощь. *Успешность* этого производства, его избыточность возвращаются к производителю как *избыточность обездоленности*. С накоплением его собственных отчужденных продуктов все время и пространство его мира становятся ему *чуждыми*. Спектакль – это карта этого нового мира; карта, в точности покрывающая его территорию. Те самые силы, которые уже ускользнули от нас, теперь во всем могуществе *демонстрируют себя* нам.

32

В обществе спектакль соответствует конкретному производству отчуждения. Экономическая экспансия и является главным образом экспансией этого конкретного индустриального производства. То, что возрастает вместе с экономикой, развивающейся ради себя самой, может быть лишь все тем же отчуждением, существовавшим в ее первоначальном ядре.

33

Человек, отделенный от продукта своего труда, во все более высокой степени сам производит все части своего мира и таким образом оказывается все более и более отделенным от своего мира. Сегодня чем больше его жизнь является его продуктом, тем больше он отделяется от собственной жизни.

34

Спектакль есть *капитал* на той стадии накопления, когда он становится образом.

## ГЛАВА 2

### ТОВАР КАК СПЕКТАКЛЬ

Ведь только как универсальная категория всего общественного бытия товар может быть понят в своей подлинной сущности. Лишь в этом контексте овеществление, возникшее из товарных отношений, приобретает решающее значение как для объективного развития общества, так и для отношения людей к нему, для подчинения их сознания формам, в которых выражается это овеществление... Это подчинение к тому же только усиливается от того, что чем дальше заходит процесс рационализации и механизации труда, тем больше деятельность трудящегося теряет характер деятельности, превращаясь в созерцательное отношение.

*Дьердь Лукач. История и классовое сознание*

35

В самом этом сущностном развитии спектакля, заключающемся в непрерывном перехватывании всего того, что в человеческой деятельности существовало в *текущем состоянии*, для заполучения его в состоянии застывшем, в качестве вещей, которые посредством *отрицательной переформулировки* жизненных ценностей становятся исключительной ценностью, мы узнаем старого врага, который столь хорошо умеет казаться на первый взгляд чем-то простым и само собой разумеющимся, тогда как на самом деле он, напротив, полон причуд и метафизических тонкостей, — товар.

36

Именно принцип товарного фетишизма, общественное господство посредством «вещей скорее сверхчувственных, чем чувственных» безоговорочно соблюдается в спектакле, где мир чувственный оказывается замещенным существующей над ним выборкой образов, что одновременно выдает себя за чувственное *par excellence*.

37

*Демонстрируемый* спектаклем мир, одновременно присутствующий и отсутствующий, есть мир товара, господствующего над всем, что переживается. И таким образом, мир товара показывается таким, *каков он есть*, ибо его движение тождественно *отдалению* людей друг от друга и в отношении к их собственному совокупному продукту.



38

Утрата качества, столь очевидная на всех уровнях языка спектакля, объекты, которые он восхваляет, и способы поведения, которые он предписывает, как раз представляют основные признаки реального производства, отстраняющего действительность: ведь товарная форма во всем являет равенство самой себе, это количественная категория. Только количественное она развивает и только на него и может разлагаться.

39

Такое развитие, исключаящее качественное, раз уж оно является развитием, само подчинено качественному скачку, ибо спектакль означает то, что это развитие превзошло порог *собственной избыточности*. Последнее утверждение верно лишь отчасти, пока лишь в нескольких точках, но уже является истинным и во всемирном масштабе, который сам представляет собой первоначальное товарное отношение, исходную связь, которую только подтвердило ее практическое развитие, воссоединившее Землю как мировой рынок.

40

Развитие производительных сил было *реальной бессознательной историей*, которая создала и видоизменила условия существования человеческих сообществ как условия выживания, а также расширяла рамки этих условий, ибо являлась экономическим основанием всех их предприятий. Товарный сектор внутри естественной экономики был организацией некоего избытка выживания. Товарное производство, предполагающее обмен разнообразными продуктами между независимыми производителями, еще долго могло оставаться ремесленным, пребывая заключенным в маргинальной экономической функции, в которой его чисто количественная истина оставалась замаскированной. Однако там, где оно встретило общественные условия для обширной торговли и накопления капиталов, оно захватило полное господство над экономикой. Тогда вся экономика целиком стала тем, чем проявил себя товар в ходе такого завоевания, – процессом количественного развития. Это непрекращающееся развертывание экономической мощи в форме товара, преобразившее человеческий труд в труд-товар, в *наемный труд*, в порядке накопления приводит к избыточности, при которой первоначальный вопрос о выживании, несомненно, оказывается решенным, но так, что он постоянно должен обнаруживать себя и каждый раз ставиться заново на более высокой ступени. Экономический рост освобождает общества от дав-

ления природной среды, требовавшего от них непосредственной борьбы за выживание, но теперь они оказываются не свободными именно от своего освободителя. *Независимость* товара распространилась на всю экономическую систему, над которой он господствует. Экономика преобразует мир, но преобразует его только в мир экономики. Та псевдоприрода, в какую был отчужден труд человека, требует до бесконечности продолжать ее *обслуживание*, и это обслуживание, которое оценивается и оправдывается только им самим, на самом деле получает в качестве своих слугителей всю тотальность общественно узаконенных проектов и усилий. Избыточность товаров, то есть товарных отношений, может теперь быть только *прибавочной стоимостью выживания*.

41

Каким-то таинственным образом товар сначала утвердил свое господство в экономике, которая сама в качестве материальной базы общественной жизни оставалась невоспринятой и непонятой, как давний, однако неузнанный знакомый. В обществе, где конкретный товар остается редким или играет второстепенную роль, именно видимое господство денег представляет себя в качестве посланника, наделенного полномочиями и выступающего от имени неведомой силы. Но вместе с промышленной революцией, мануфактурным разделением труда и массовым производством, ориентированным на мировой рынок, товар проявляется действительно как сила, которая фактически *заполняет* всю общественную жизнь. Именно в этот момент политическая экономия и конституируется как господствующая наука и как наука о господстве.

42

Спектакль – это стадия, на которой товару уже удалось добиться *полного захвата* общественной жизни. Отношение к товару не просто оказывается видимым, но теперь мы только его и видим: видимый нами мир – это его мир. Современное экономическое производство распространяет свою диктатуру и вширь и вглубь. В самых малоиндустриализованных уголках планеты его царствие уже ощущается через наличие нескольких товаров-звезд и империалистического господства зон, лидирующих в развитии производительности. В этих передовых зонах общественное пространство заполнено непрерывным геологическим напластованием товаров. На этом этапе “второй индустриальной революции” отчужденное потребление становится некоей обязанностью масс, дополнительной по отношению к отчужденному производству. Весь без исключения *продаваемый труд* об-

щества повсеместно становится *тотальным товаром*, чье циклическое воспроизведение должно продолжаться. Ради этого нужно, чтобы такой тотальный товар по частям возвращался к фрагментарному индивиду, абсолютно отделенному от производительных сил, действующих как целостная система. Следовательно, именно здесь специализированная наука о господстве должна, в свою очередь, специализироваться – и она дробится на социологию, психотехнику, кибернетику, семиотику и т. д. и т. п., на всех уровнях контролируя саморегуляцию процесса.

43

Тогда как на первоначальной фазе капиталистического накопления «политическая экономия видела в *пролетарии* лишь *рабочего*», который должен получать необходимый минимум для поддержания своей рабочей силы, совершенно не рассматривая его «в его досуге, в его человеческом качестве», эта идейная позиция господствующего класса оборачивается сразу же, как только степень избыточности, достигнутая в производстве товаров, требует от рабочего избытка соучастия. Этот рабочий, внезапно отмытый от тотального презрения, на что ему явственно указывают все способы организации производственного процесса и контроля, за пределами последних ежедневно и явно обнаруживает, что в качестве потребителя с ним со впечатляющей вежливостью обращаются как с важной персоной. То есть *товарный гуманизм* принимает в расчет «досуг и человеческий облик» трудящегося просто потому, что политическая экономия сегодня может и должна господствовать над этими сферами как *экономия политическая*. Таким образом, «завершившееся отрицание человека» берет под свой контроль всю полноту человеческого существования.

44

Спектакль – это перманентная опиумная война, ведущаяся с целью добиться принятия тождества благ с товарами, а удовлетворения – с порогом выживания, возрастающим согласно собственным законам. Но если потребляемое выживание есть то, что всегда должно возрастать, так это потому, что оно постоянно *содержит в себе лишение*. Если нет ничего по ту сторону возрастающего по стоимости выживания, никакой точки, где бы оно могла прекратить свой рост, то это именно потому, что оно не является потусторонним по отношению к лишению, потому что оно и есть это, только ставшее еще более дорогим, лишение.

С автоматизацией, которая представляет собой одновременно и самый развитой сектор современной индустрии, и модель, в которой полностью подытоживается ее деятельность, стало необходимым, чтобы мир товара преодолел следующее противоречие: техническое оборудование, объективно отменяющее труд, должно в то же время сохранить *труд как товар* и как единственное место рождения товара. Для того чтобы автоматика или любая другая, менее радикальная форма повышения производительности труда в действительности не уменьшала в масштабе общества время необходимого общественно-го труда, необходимо создавать новые рабочие места. Третичный сектор – сектор услуг – и представляет собой гигантское растягивание эшелонированных линий распределения и восхваления современных товаров, мобилизацию дополнительных сил, которая самой искусственностью потребностей, относящихся к таким товарам, очень хорошо соответствует необходимости подобной организации подсобного труда.

Меновая стоимость могла сформироваться лишь как агент потребительной стоимости, но ее победа посредством собственного оружия создала условия для ее автономного господства. Мобилизуя всякое человеческое потребление и захватывая монополию на его удовлетворение, она дошла до того, чтобы *управлять потреблением*. Процесс обмена отождествился с любым возможным потреблением и низвел его до зависимости от себя. Меновая стоимость – это наемница потребительной стоимости, кончающая тем, что развязывает войну ради собственного интереса.

Константа капиталистической экономики, заключающаяся в *тенденции к снижению потребительной стоимости*, развивает новую форму нехватки внутри прибавочной стоимости выживания, которая к тому же не свободна от стародавней нищеты, потому что требует соучастия огромного большинства людей как наемных работников в бесконечном поддержании ее напряжения и потому что каждый знает, что ему нужно либо подчиниться, либо умереть. Именно реалии этого шантажа, заключающиеся в том, что потребление в своей наиболее бедной форме (питаться, иметь жилье) существует теперь лишь как заключенное внутри иллюзорного богатства возросшей стоимости выживания, являются действительным основанием для приня-

тия иллюзии вообще в современное товарное потребление. Реальный потребитель становится потребителем иллюзий. Товар есть эта иллюзия, по сути дела реальная, а спектакль – ее всеобщее проявление.

48

Потребительная стоимость, которая была включена в меновую стоимость имплицитно, теперь, в обращенной действительности спектакля, должна провозглашаться эксплицитно, как раз потому, что ее подлинная действительность подтачивается сверхразвитой рыночной экономикой, и потому, что для фальшивой жизни становится необходимым некое псевдо-подтверждение.

49

Спектакль есть другая сторона денег – всеобщего абстрактного эквивалента всех товаров. Но если деньги подчинили себе общество как репрезентация главной эквивалентности, то есть обмениваемости многообразных благ, чье потребление оставалось несравнимым, спектакль представляет собой их развившееся современное дополнение, где вся полнота товарного мира появляется оптом, как некая всеобщая эквивалентность того, чем совокупность общества может быть и что делать. Спектакль есть деньги, на которые мы *только смотрим*, ибо в нем тотальность потребления уже заместила тотальностью абстрактного представления. Спектакль не просто слуга *псевдопотребления*, он уже сам по себе есть псевдопотребление жизни.

50

Сосредоточенный результат общественного труда в момент *экономического* изобилия становится видимым и подчиняет всякую действительность видимости, которая теперь становится его продуктом. Капитал больше не невидимый центр, управляющий способом производства, ибо его накопление распространяется вплоть до самой периферии в форме осязаемых объектов. Все протяжение общества – это его портрет.

51

Победа самостоятельной экономики должна в то же время стать ее гибелью. Высвобожденные ею силы подавляют *экономическую необходимость*, которая была незыблемой основой прежних обществ. Когда она заменяет ее необходимостью бесконечного экономического развития, она может замещать удовлетворение первичных призна-

ваемых в общем человеческих потребностей лишь непрерывной фабрикацией псевдопотребностей, которые сводятся к единственной псевдопотребности – поддерживать ее господство. Но самостоятельная экономика навсегда отделяется от этой глубинной потребности по мере того, как она выходит из *общественного бессознательного*, которое от нее зависело, о том не ведая. «Все сознательное потребляется. Бессознательное – остается неизменным. Но, стоит ему высвободиться, не превратится ли оно, в свою очередь, в руины?» (Фрейд).

52

В момент, когда общество открывает, что оно зависит от экономики, на самом деле уже экономика зависит от него. Та подспудная мощь, которая возросла настолько, что смогла проявиться в качестве верховной, таким образом утратила свое могущество. Там, где было экономическое *Оно*, должно стать *Я*. Субъект может возникнуть лишь из общества, то есть из существующей в нем борьбе. Его возможное существование полностью зависит от результатов классовой борьбы, которая проявляет себя и как продукт, и как производитель экономического основания истории.

53

Сознание желания и желание сознания тождественны этому проекту, в своей негативной форме стремящемуся к уничтожению классов, то есть к прямому овладению трудящимися всеми сферами собственной деятельности. Его *противоположностью* является общество спектакля, где товар сам созерцает себя в созданном им самим мире.

## ГЛАВА 3

### ЕДИНСТВО И РАЗДЕЛЕНИЕ В ВИДИМОСТИ

По всей стране на философском фронте разворачивается новая оживленная полемика по поводу понятий «одного, разделяющегося на два», и «двух, сливающихся в одно». Этот спор есть борьба между теми, кто за, и теми, кто против материалистической диалектики, борьба между двумя концепциями мира: пролетарской и буржуазной. Утверждающие, что «одно, разделяющееся на два», есть фундаментальный закон вещей, придерживаются материалистической диалектики, утверждающие, что основной закон вещей в том, что «два сливаются в одно», – против материалистической диалектики. Две стороны прочертили между собой четкую демаркационную линию, и их аргументы диаметрально противоположны. Эта полемика отражает в зеркале идеологии острую и сложную классовую борьбу, которая разворачивается в Китае и во всем мире.

*«Красное знамя». Пекин. 21 сентября 1964 года*

54

Подобно всему современному обществу, спектакль одновременно является и единым и разделенным. Как и общество, спектакль надстраивает свое единство над разрывом. Но когда в спектакле возникает противоречие, оно, в свою очередь, опровергается оборачиванием его смысла – и оказывается, что демонстрируемое в спектакле разделение едино, тогда как продемонстрированное единство раздельно.

55

Дело в том, что борьба за разные виды власти, установившиеся ради управления одной социально-экономической системой, проявляется как официально признанное противоречие, на самом деле принадлежащее к действительному единству – и единство это существует как в мировом масштабе, так и внутри каждой страны.

56

Фальшивые театрализованные конфликты соперничающих форм разделенной власти в то же время являются реальными в том, что выражают несбалансированное и конфликтное развитие системы, относительно противоречивые интересы классов, или классовых подраз-

делений, которые признают систему и определяют собственное участие во власти. Так же, как и развитие самой передовой экономики есть столкновение одних определенных приоритетов с другими, тоталитарное управление экономикой со стороны государственной бюрократии, как и состояние стран, оказавшихся в колониальной и полуколониальной сфере, определяется значительными особенностями в способах производства и методах властвования. В спектакле эти разнообразные оппозиции могут преподноситься в соответствии с совершенно разными критериями, как формы абсолютно различных обществ. Но сообразно самой их наличной действительности как особых регионов истина самой их личности заключается во включении их в универсальную систему – в том едином движении, которое превратило планету в собственное поле, в капитализме.

57

Общество — носитель спектакля господствует над слабо развитыми регионами не только посредством экономической гегемонии. Оно господствует над ними и *в качестве общества спектакля*. Там, где для этого пока отсутствует материальное основание, современное общество зрительно уже заполонило социальную поверхность каждого континента. Оно определяет программу правящего класса и направляет его формирование. Подобно тому, как оно представляет псевдоблага, которые следует вождель, оно так же предлагает местным революционерам и фальшивые модели революции. Спектакль, присущий бюрократической власти, довлеющей над несколькими индустриальными странами, на деле является частью тотального спектакля – и как его общее псевдо-отрицание, и как его опора. Если спектакль, рассматриваемый в своих различных локализациях, с очевидностью указывает на тоталитарные общественные специализации прессы и администрации общества, то последние на уровне глобального функционирования системы сливаются в некоем *мировом разделении зрелищных задач*.

58

Это разделение зрелищных задач, сохраняющее общую структуру существующего порядка, принципиально сохраняет и доминирующий полюс его развития. Спектакль укоренен на территории экономики, ставшей изобильной, и именно из нее вызревают те плоды, что в конце концов стремятся полностью господствовать на рынке зрелищ, невзирая на протекционистские идеологические и полицейские барьеры любого локального спектакля, претендующего на автаркию.



59

Движение *банализации*, усреднения, которое под броскими отвлекающими маневрами спектакля господствует в современном обществе по всему миру, также доминирует и в каждой позиции, где развитое потребление товаров внешне приумножило выбор ролей и объектов. Пережитки религии и семьи – каковая остается главной формой наследования классовой власти, – а следовательно, и обеспечиваемого ими морального подавления могут, играя одну и ту же роль, сочетаться с изобилующими утверждениями о наслаждении *этим* миром: ведь этот мир как раз и производится в качестве псевдонаслаждения, сохраняющего в себе репрессию. Таким же образом с блаженным принятием существующего может сливаться воедино чисто показной бунт – и этим выражается не что иное, как то, что сама неудовлетворенность стала неким товаром, как только экономическое изобилие оказалось способным распространить производство на обработку такого первичного материала.

60

Сосредоточивая в себе образ некоей возможной роли, звезда – эта зрелищная репрезентация живого человека – концентрирует, следовательно, эту усредненность в себе. Удел звезды – это специализация *мнимого проживания жизни*; она – это объект отождествления с мнимой поверхностной жизнью, которым должно компенсироваться дробление проживаемых в действительности производительных специализаций. Звезды существуют, чтобы олицетворять типы разнообразных жизненных стилей и стилей понимания общества, способных осуществляться *глобально*. Они воплощают недоступный результат общественного *труда*, имитируя побочные продукты этого труда, магическим образом оказывающиеся вознесенными над ним в качестве его цели: *власть* и *пора отпусков*, сфера принятия решений и потребление, которые находятся в начале и в конце одного никогда не обсуждаемого процесса. В одном месте правительственная власть персонифицируется в виде псевдо-звезды, в другом – сама звезда потребления через плебисцит наделяется псевдовластью над переживанием. Но аналогично тому, как эти ролевые действия звезды не являются по-настоящему глобальными, им так же не свойственно и разнообразие.

61

Действующее лицо спектакля, выставленное на сцену в качестве звезды, – это противоположность индивида, враг индивида как в нем са-

мом, так и в других. Перейдя в спектакль как модель идентификации, он отказывается от всякого автономного качества ради того, чтобы отождествить самого себя с общим законом подчинения ходу вещей. Звезда потребления, будучи совершенно внешней по отношению к репрезентации различных типов личности, показывает, что каждый из этих типов в равной степени обладает доступом к тотальности потребления и равным образом обретает в ней счастье. Звезде сферы принятия решений подобает обладать полным набором того, чем было принято восхищаться как человеческими достоинствами. Вот так, официальные расхождения между ними устраняются официальным сходством – предпосылкой их превосходства во всем. Хрущев стал генералом, чтобы предрешить исход Курской битвы не на поле боя, а на ее двадцатую годовщину, став во главе государства. Кеннеди оставался оратором даже тогда, когда произносил панегирик над собственной могилой, ибо в тот момент Теодор Серенсен продолжал писать его преемнику речи в стиле, который столь много значил для признания персоны усопшего. Ведь те замечательные люди, в которых персонифицируется система, становятся известны лишь для того, чтобы не быть самими собой, ибо они стали великими, опустившись ниже действительности ничтожнейшей индивидуальной жизни, и каждый из них это знает.

62

Фальшивый выбор в показном изобилии, выбор который кроется в противопоставлении конкурирующих спектаклей спектаклям солидарным, как и в противопоставлении ролей (принципиально означаемых и передаваемых объектами), каковые одновременно исключают и встраиваются друг в друга, развивается в борьбе воображаемых качеств, предназначенных для того, чтобы возбудить приверженность к количественной заурядности. Таким образом, возрождаются ложные архаические оппозиции – регионализмы или расизмы, призванные преобразить в фантастическое онтологическое превосходство ничтожность мест, занимаемых в иерархии потребления. Подобным же образом переустраивается нескончаемая серия смехотворных столкновений, мобилизующих некий полуигровой интерес, – от спортивных соревнований до выборов. Там, где установилось избыточное потребление, главная показная оппозиция между молодежью и взрослыми выводит на первый план эти фальшивые роли, ибо нигде не существует взрослого – хозяина собственной жизни, а молодость как изменяющее существующее – уж никак не свойство сегодняшней молодежи, но свойство экономической системы – динамики капита-

лизма. Царствуют, наполняются молодостью, вытесняют и замещают друг друга именно *вещи*.

63

Под оппозициями спектакля скрывается *единство нужды*. Если различные формы одного и того же отчуждения сталкиваются под масками тотального выбора, то это происходит потому, что все они надстраиваются над вытесненными реальными противоречиями. В соответствии с потребностями той особой стадии опровергаемой или отстаиваемой спектаклем нужды, он существует либо в сосредоточенной форме, либо в форме рассредоточенной. В обоих случаях — это лишь образ удачного соединения, окруженного скорбью и ужасом, в спокойном центре урагана.

64

В сущности, сосредоточенная театрализация свойственна бюрократическому капитализму, хотя она может заимствоваться в качестве технологии государственной власти более отсталыми смешанными экономиками или же в определенные кризисные моменты развитого капитализма. Сама бюрократическая собственность на деле является сосредоточенной в том смысле, что отдельный бюрократ связан с властью над экономикой в целом лишь посредством бюрократического сообщества, и только как член этого сообщества. Кроме того, менее развитое производство товаров также представляется в сосредоточенной форме, ибо товар, которым владеет бюрократия, — это совокупный общественный труд, а то, что она перепродает обществу, — это его выживание в целом. Диктатура бюрократической экономики не может оставить эксплуатируемым массам никакого значительного поля выбора, поскольку она должна все выбирать сама и потому что любой иной внешний выбор, касается ли он питания или музыки, является, следовательно, выбором ее полного разрушения. Она должна сопровождаться перманентным насилием. Навязываемый в ее спектакле образ блага вбирает в себя всю полноту того, что существует в качестве официально признанного, и, как правило, концентрируется на одном человеке — гаранте ее тоталитарной сплоченности. С этой абсолютной звездой каждый должен либо магически отождествиться, либо исчезнуть. Ибо дело идет о господине собственного не-потребления и о героическом образе, в каком-то смысле приемлемом для абсолютной эксплуатации, на самом деле представляющей собой ускоренное террором первоначальное накопление. Если каждый китаец должен учиться у Мао и, таким образом, быть Мао,

так это потому, что ему не нужно иметь *ничего другого, чтобы быть*. Там, где господствует сосредоточенная театрализация, также господствует и полиция.

65

Рассредоточенная театрализация сопровождает изобилие товаров, ничем не нарушаемое развитие современного капитализма. Здесь каждый отдельно взятый товар получает оправдание во имя величия производства всей совокупности предметов, чьим апологетическим перечнем и является спектакль. Непримиимые утверждения толкутся на сцене унифицированного зрелища избыточной экономики; подобно тому, как различные показные товары-звезды одновременно отстаивают свои собственные противоречащие проекты общественного благоустройства, когда автомобильный спектакль требует для себя идеального дорожного движения, уничтожающего старые города, тогда как зрелище самого города нуждается в кварталах-музеях. Следовательно, само удовлетворение, уже проблематичное и, по общему мнению, принадлежащее *совокупному потреблению*, немедленно фальсифицируется в том, что реальный потребитель может прямо соприкоснуться лишь с последовательностью фрагментов этого товарного благоденствия, — фрагментов, в которых качество, приписываемое совокупности, каждый раз, конечно же, явно отсутствует.

66

Каждый товар, обреченный на борьбу за самого себя, не может признать другие товары и претендует на то, чтобы навязывать себя повсюду, словно он — единственный. Тогда спектакль — это эпическое воспевание этого столкновения, и никакое падение Трои не сможет его завершить. Спектакль воспекает не мужей и их оружие, но лишь товары и их страсти. Именно в этой слепой борьбе каждый конкретный товар, следуя собственной страсти, на самом деле бессознательно реализует нечто гораздо более возвышенное: товарное становление-миром, которое к тому же есть становление-товаром мира. Таким образом, *хитростью товарного разума частное* товара приводится в столкновение, тогда как товарная форма движется к своей абсолютной реализации.

67

Доходит до того, что удовлетворение, которого избыточный товар уже больше не может дать в потреблении, стремятся получить в признании его ценности как товара: такое *товарное* потребление удовлетворяет только самого себя, потребителю же здесь отводится лишь

соучастие в религиозных излияниях по отношению к суверенной свободе товара. Волны же энтузиазма по поводу того или иного продукта, поддерживаемые и разносимые всеми средствами массовой информации, распространяются стремительными темпами. Стиль одежды возникает из фильма, журнал создает имя клубам и обществам, а те вводят в моду различные наборы товаров. Феномен *гаджета* – забавных безделушек – выражает то, что в момент, когда товарная масса стремится к отклонению от нормы, само отклонение становится особым товаром. Например, за рекламными брелоками, больше не покупаемыми, но презентуемыми по случаю, сопровождающими престижные покупки или становящимися предметом своего рода обмена, можно опознать проявление некоей мистической преданности трансцендентности товара. Тот, кто коллекционирует брелоки, которые и производятся лишь для того, чтобы пополнять коллекции, накапливает товарные *индугенции* – славный знак его реального присутствия среди верных сторонников. Овеществленный человек выставляет напоказ доказательство интимной связи с товаром. Как в экстазах конвульсионеров или восторгах чудесно исцеленных религиозного фетишизма былых времен, фетишизм товарный доходит до состояний лихорадки. Единственное потребление, что еще выражается здесь, есть фундаментальное потребление подчинения.

68

Несомненно, навязываемая в современном потреблении псевдо-потребность не может быть противопоставлена никакой подлинной потребности или желанию, которые сами не были бы сфабрикованы обществом и его историей. Но избыточность товара выступает здесь как абсолютный разрыв в органическом развитии общественных потребностей. Его механическое накопление высвобождает нечто *безгранично искусственное*, а перед последним всякое живое желание остается обезоруженным. Совокупная мощь независимых артефактов повсеместно влечет за собой *фальсификацию общественной жизни*.

69

В образе счастливой унификации общества посредством потребления реальное разделение только *приостанавливается* до ближайшей незавершенности в потребляемом. Каждый отдельный продукт, который должен олицетворять надежду на молниеносное сокращение пути к окончательному достижению обетованной земли полного потребления, в свою очередь, церемонно представляется как решаю-

ший в своей сингулярности. Но, как и в случае мгновенного распространения моды на разные мнимо аристократические имена, которыми тут же оказываются названы почти все индивиды одного возраста, предмет, от которого ждут некоей уникальной способности, смог предстать как объект массового обожания лишь потому, что он выпускается в достаточно большом количестве, чтобы быть массово потребленным. Престижным характером этот посредственный продукт наделяется лишь потому, что на мгновение он оказывается помещен в центр общественной жизни как явленная в откровении тайна конечной цели производства. Предмет, который был столь престижным в спектакле, становится пошлым в тот момент, когда он приходит к одному потребителю в то же время, что и к другим. Он слишком поздно открывает свое сущностное убожество, естественно наследуемое от ничтожности своего производства. Но в этот момент уже другой предмет несет на себе оправдание системы и ее требование быть признанным.

70

Обман удовлетворения должен разоблачать себя сам, замешаясь другим обманом, следуя смене продуктов и изменению общих условий производства. То, что с абсолютным бесстыдством утверждало собственное окончательное превосходство, как в спектакле рассредоточенном, так и в спектакле сосредоточенном тем не менее быстро сменяется, и только сама система должна сохраняться: так, Сталин, подобно вышедшему из моды товару, обличается теми, кто прежде перед ним благоговел. Каждая *новая ложь* рекламы — это также *признание* ее предыдущей лжи. Каждое крушение лидера тоталитарной власти выявляет *иллюзорное сообщество*, которое его единодушно одобряло и бывшее всего лишь скоплением не питающих иллюзий одиночеств.

71

Представляемое спектаклем как вечное основывается на изменении и должно изменяться вместе с его основанием. Спектакль абсолютно догматичен, но в то же время на деле не может установить никакой жесткой догмы. Для него ни в чем нет остановки: состояние для него естественное, но тем не менее и наиболее противоположное его устремлениям.

72

Провозглашаемое спектаклем нереальное единство есть маска классового разделения, на котором зиждется действительное единство

капиталистического способа производства. То, что обязывает производителей участвовать в построении мира, есть также то, что их от него отстраняет. То, что устанавливает связи между людьми, избавленными от локальных и национальных ограничений, есть также то, что их отдаляет друг от друга. То, что принуждает к углублению рационального, есть также то, что питает иррациональное иерархической эксплуатации и подавления. То, что создает власть, абстрагированную от общества, творит и его конкретную *несвободу*.

## ГЛАВА 4

### ПРОЛЕТАРИАТ КАК СУБЪЕКТ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Равное для всех право на пользование благами и удовольствиями этого мира. разрушение всех авторитетов. отрицание любых моральных ограничений – вот, если всмотреться в суть вещей, основная причина возникновения восстания 18 марта и хартия опасного сговоробшество спектакля, обеспечившая его армией сторонников.

*Парламентское расследование о восстании 18 марта*

73

Реальное движение, которое упраздняет существующие условия, правит обществом начиная с момента, когда в экономике побеждает буржуазия, а начиная с политического воплощения этой победы это управление становится видимым. Развитие производительных сил разрушает старые производственные отношения, и весь статический порядок рассыпается в прах. Все, что было абсолютным, становится историческим.

74

Ведь только будучи брошенными в историю, вынужденными участвовать в утверждающих ее труде и борьбе, люди обнаруживают, что должны трезво представлять собственные отношения. Эта история не имеет объекта, отличного от того, что она осуществляет в себе самой, хотя прошлое бессознательное метафизическое видение исторической эпохи могло рассматривать возрастание производительности, в котором проявлялась история, в качестве самого объекта истории. *Субъектом* же истории может быть лишь живущий, производящий самого себя, становящийся господином и обладателем собственного мира, который и есть история, и существующий как *сознание своей игры*.

75

Как одно и то же течение развивались классовые конфликты длительной *революционной эпохи*, начавшейся вместе с подъемом буржуазии и *историческим мышлением*, диалектикой, мышлением, которое больше не останавливается на поиске смысла сущего, но восходит до осознания разложения всего существующего, которое разрешает в движении любые разделения.



76

Гегель *интерпретировал* уже не мир, но *преобразование* мира. Но, так как он *истолковывал только* преобразование, Гегель был лишь философским завершением философии. Он хочет понять *творящий сам себя* мир. К тому же это историческое мышление не больше, чем сознание, приходящее всегда слишком поздно и высказывающее подтверждение лишь *post festum*. Таким образом, оно преодолевает разделение лишь в мышлении. Парадокс, состоящий в том, что необходимо откладывать суждение о смысле всякой действительности до ее исторического воплощения и в то же время раскрывать этот смысл как самоконституирующийся в историческом воплощении, вытекает просто из того обстоятельства, что мыслитель буржуазных революций XVII и XVIII веков искал в своей философии лишь *примирения* с их результатом. «Подобно философии буржуазной революции, она является отражением не всего процесса этой революции, но только ее итогового заключения. И в этом смысле она является не философией революции, но философией реставрации. «(Карл Корш. *Тезисы о Гегеле и революции*). Гегель в последний раз проделал работу философа — «превознесение существующего», но и существующее для него не могло быть ничем иным, как тотальностью исторического движения. Фактически утверждавшаяся *внешняя* позиция мышления могла быть замаскирована только через ее отождествление с предварительным проектом Духа — абсолютного героя, который творит то, что хочет, а хочет того, что творит, и чье воплощение всегда совпадает с настоящим. Таким образом, философия, умирающая в исторической мысли, может теперь превозносить свой мир, лишь отрицая его, ибо, чтобы взять слово, ей необходимо представлять как уже закончившуюся ту тотальную историю, в которой она все заключает, и закрыть заседание того единственного трибунала, где может быть вынесен приговор истине.

77

Когда действия и само существование пролетариата выявляют то, что эта историческая мысль не была забыта, изобличение неправильности *вывода* одновременно служит подтверждением неправильности метода.

78

Мышление истории может быть спасено лишь становлением мышления практическим, а практика пролетариата как революционного класса по меньшей мере должна быть историческим сознанием, счи-

тающимся со всей полнотой его мира. Все теоретические течения *революционного* рабочего движения вышли из критического столкновения с гегелевской мыслью: и это не только Маркс, но также и Бакунин, и Штирнер.

79

Неразрывный характер теории Маркса и гегелевского метода, в свою очередь, не может быть отделен от революционного характера этой теории, то есть от ее истины. Именно в этом пункте их первичная связанность была повсеместно проигнорирована или понята ошибочно, или же, ко всему прочему, обличалась как слабость того, что лживо выдавалось за некую марксистскую *доктрину*. Бернштейн в *Теоретическом социализме и практической социал-демократии* замечательно вскрыл эту связь диалектического метода и исторической *предвзятости*, сокрушаясь о малонаучных предвидениях Манифеста 1847 года о неизбежности пролетарской революции в Германии: «Это историческое самовнушение, настолько ошибочное, что записные политические мечтатели вряд ли смогли бы его превзойти, было бы непонятно у Маркса, в то время уже основательно знавшего экономику, если в нем не усматривать остаточный продукт гегелевской диалектики противоречия, от которой Маркс, равно как и Энгельс, никогда не смог освободиться полностью. Тем более роковым она была для него в те времена всеобщего смятения».

80

*Обращение*, осуществляемое Марксом ради «сохранения посредством переноса» мышления буржуазных революций, состоит не в том, чтобы банально заменить материалистическим развитием производительных сил движение гегелевского Разума, стремящегося к воссоединению с самим собой во времени, ибо его объективация тождественна его отчуждению, а его исторические повреждения не оставляют шрамов. Истории, ставшей действительной, больше нет *конца*. Маркс упразднил и *обособленную* по отношению к происходящему позицию Гегеля и *созерцание* какого бы то ни было внешнего верховного деятеля. Теперь теория должна познавать лишь то, что ею производится. И напротив, в господствующем мышлении современного общества именно созерцание экономического движения является *необращенным* наследием *недиалектической* части гегелевской попытки построения замкнутой на себе системы: это соглашательство утратило понятийное измерение и для собственного оправдания больше не имеет нужды в каком-либо гегельянстве, ибо движение, которое теперь необходимо превозносить, представляет собой безмыс-

ленный сектор мира, чье механическое развитие реально господствует над целым. Проект Маркса – это проект истории осознанной. Количественное, возникающее в слепом чисто экономическом развитии производительных сил, должно превратиться в качественное историческое присвоение. И *Критика политической экономии* – первый акт финала этой *доистории*: «Из всех орудий производства самая значительная производительная сила – это сам революционный класс».

81

Рациональное понимание реально действующих в обществе сил тесно связывает теорию Маркса с научной мыслью. Но в своей основе оно находится по *ту сторону* научной мысли, и последняя сохраняется в ней, только будучи преодоленной, ибо дело идет о понимании *борьбы*, а ни в коем случае не *закона*. «Мы знаем только одну науку – науку истории», – говорит *Немецкая идеология*.

82

Буржуазная эпоха, стремящаяся обосновать историю научно, пренебрегает тем обстоятельством, что эта находящаяся в ее распоряжении наука должна, прежде всего, сама исторически основываться на экономике. И наоборот, история радикально зависит от научного познания лишь постольку, поскольку эта история остается *историей экономической*. То, в какой мере историческая часть в самой экономике (глобального процесса, который видоизменяет собственную базу научных данных) могла, помимо прочего, не замечаться с точки зрения научного наблюдателя, показывает тщетность исчислений тех социалистов, которые полагали, будто они установили точную периодичность кризисов; а с тех пор, как в него постоянно начало вмешиваться государство, чтобы компенсировать последствия кризисных тенденций, рассуждения подобного рода узревают в этом шатком равновесии окончательную экономическую гармонию. Если проект преодоления экономики, проект овладения историей, должен познать (и свести к себе) науку об обществе, он сам не может оставаться *научным*. В этом последнем движении, полагающем, будто оно овладевает настоящей историей через научное познание, революционная точка зрения продолжает оставаться *буржуазной*.

83

Утопические течения социализма, хотя исторически сами и основанные на критике существующей социальной организации, могут быть квалифицированы как утопические как раз в той мере, в какой они отвергают историю (то есть реально идущую борьбу, так же как и

движение времени над неизменным совершенством их образа счастливого общества), а не потому, что они якобы отрицают науку. Наоборот, мыслители-утописты целиком находятся под властью научного мышления в том виде, каким оно было навязано в предыдущие столетия. И они стремятся лишь к завершению этой общей рациональной системы; они никоим образом не рассматривают себя как безоружных пророков, ибо верят в общественное могущество научного доказательства и даже, в случае сенсимонизма, в захват власти наукой. Как, вопрошает Зомбарт, «хотят они добиться посредством борьбы того, что должно быть *доказано?*» Между тем научная концепция утопистов не распространялась на познание того, какие интересы имеют социальные группы в существующей ситуации, какие силы выступают в ее поддержку, а также каковы формы ложного сознания, соответствующие таким позициям. Следовательно, она остается гораздо ниже реальности исторического развития самой науки, которая оказалась по большей части ориентированной вытекающим из таких факторов *социальным запросом*, определяющим не только то, что может быть принято, но также и то, что должно быть исследовано. Социалисты-утописты, остававшиеся пленниками *научного способа изложения истины*, понимают эту истину по ее чистому абстрактному образу, в каковом она представляла на давно прошедших стадиях развития общества. Как отмечал Сорель, утописты думали открыть и наглядно объяснить законы общества по образцу *астрономии*. Гармония, намеченная ими как цель, враждебна истории и имеет своим источником попытку приложения к обществу науки, наименее зависящей от истории. Она стремится к признанию с той же экспериментальной невинностью, что и физика Ньютона, и постоянно постулируемый счастливый итог «играет в их общественной науке роль, аналогичную той, что приписывают силе инерции в рациональной механике» (*Материалы для теории пролетариата*).

84

Детерминистски-научная сторона мысли Маркса как раз и оказалась той брешью, через которую в нее проникает процесс «идеологизации» — при жизни и тем более в теоретическом наследии, завещанном рабочему движению. Приход субъекта истории до поры откладывается на более поздний срок, и именно историческая наука *par excellence*, экономика, все шире стремится обеспечить необходимость своего собственного будущего отрицания. Но этим вне поля теоретического видения выталкивается революционная практика — единственная истина этого отрицания. Таким образом, оказывается важным и

терпеливое изучение экономического развития, помимо прочего же, становится просто неизбежным принимать с гегельянским спокойствием горечь от того, что его результатом оказывается «кладбище благих намерений». Вдруг открывают, что сегодня, согласно науке о революциях, *сознание приходит всегда слишком рано* и должно быть преподано. «История показала, что и мы и все, мыслившие подобно нам, были не правы. Она ясно показала, что состояние экономического развития Европейского континента в то время далеко еще не было настолько зрелым...» – скажет Энгельс в 1895 году. Всю свою жизнь Маркс придерживался в своей теории единой точки зрения, но *изложение* его теории переносилось на территорию господствующей мысли, конкретизируясь в форме критики частных дисциплин и главным образом критики основополагающей науки буржуазного общества – политической экономии. Именно это искажение, впоследствии принятое как окончательное, конституировало «марксизм».

85

Недостаток в теории Маркса естественно стал и недостатком революционной борьбы пролетариата его эпохи. В Германии 1848 года рабочий класс не объявил о перманентной революции, в изоляции была разгромлена Коммуна. Следовательно, революционная теория еще не смогла достичь полноты своего существования. И то, что Маркс был вынужден уточнять и защищать ее в уединении научной работы в *British Museum*, подразумевало некий изъян в самой теории. Как раз научные оправдания, навязанные будущему развитию рабочего класса, и сочетающаяся с этими оправданиями организационная практика на более продвинутой стадии станут препятствиями для пролетарского сознания.

86

Вся теоретическая недостаточность *научной* защиты пролетарской революции может быть сведена, как по содержанию, так и по форме изложения, к отождествлению пролетариата с буржуазией *с точки зрения революционного захвата власти*.

87

Тенденция обосновывать доказательства научной закономерности власти пролетариата, превращающая ее в сводку повторяющихся экспериментов прошлого, затемняет, начиная с самого «Манифеста», историческую мысль Маркса, заставляя его придерживаться *линейной* схемы развития способов производства, ставшего следствием классовой борьбы, каждый раз якобы заканчивающейся «революци-

онным преобразованием всего общества целиком или общим уничтожением борющихся классов». Но в наблюдаемой исторической действительности, подобно тому как «азиатский способ производства», что подчеркивает Маркс по другому поводу, сохранял свою неподвижность, несмотря на все классовые столкновения, жакерии крепостных никогда не побеждали баронов, а восстания античных рабов – свободных людей. Линейная схема упускает из виду, прежде всего, то, что *буржуазия является единственным революционным классом, оставшимся непобежденным*, и в то же время она – единственный класс, для которого развитие экономики стало причиной и следствием ее господства над обществом. То же упрощенчество привело Маркса и к отрицанию экономической роли государства в управлении классовым обществом. Если восходящая буржуазия, казалось, освободила экономику от государства, то происходило это в той мере, в какой прежнее государство совпадало с орудием классового подавления в *статической экономике*. Буржуазия развила свое самостоятельное экономическое могущество в средневековый период ослабления государства, в пору феодальной раздробленности взаимно сбалансированных видов власти. Но современное государство, начавшее поддерживать развитие буржуазии через меркантилизм и в конце концов в период «laissez faire, laissez passer» ставшее *ее государством*, затем открывает себя как наделенное основной властью в рассчитываемом управлении *экономическим процессом*. Маркс, однако, под именем *бонапартизма* сумел описать этот прототип современной государственной бюрократии как слияние капитала и государства, установление «национальной власти капитала над трудом, общественной силы социального подчинения», когда буржуазия отказывается от всякой исторической жизни, несводимой к экономической истории вещей, избирая «обреченность на то же политическое небытие, что и другие классы». Уже здесь закладываются социально-политические основы современного спектакля, негативно определяющего пролетариат как *единственного претендента на историческую жизнь*.

88

Только два класса, действительно соответствующих теории Маркса, два беспримесных класса, к которым приводит весь анализ *Капитала*, – буржуазия и пролетариат — равным образом являются двумя единственными революционными классами истории, хотя и в различных условиях, ибо буржуазная революция произошла, а революция пролетарская – еще только проект, возникший на основе

предыдущей революции, но отличающийся от нее качественно. Те, кто пренебрегает *своеобразием* исторической роли буржуазии, заслоняют конкретное своеобразие и этого пролетарского проекта, который не мог бы ничего достичь, если бы не выступал под собственным знаменем и не осознавал «громадность своих задач». Буржуазия пришла к власти потому, что была классом развивающейся экономики. Пролетариат сам может стать властью, только становясь *классом сознания*. Созревание производительных сил не может гарантировать такой власти даже посредством все возрастающей экспроприации, которую оно влечет за собой. Якобинский захват государственной власти не может быть орудием пролетариата. Никакая *идеология* не может ему послужить в том, чтобы скрыть частные цели за общими, ибо он не может сохранять никакую частную действительность, которая бы фактически была его собственной.

89

Если Маркс, в определенный период своего участия в борьбе пролетариата, слишком уж рассчитывал на научное предвидение и даже создал интеллектуальную основу для иллюзий экономизма, мы-то уж знаем, что он им не поддавался лично. В хорошо известном письме от 7 декабря 1867 года, сопровождающем статью, где он сам критикует *Капитал*, статью, которую Энгельс должен был передать в газеты, как если бы она исходила от оппонента, Маркс ясно обозначил пределы своей науки: «...*Субъективная* тенденция автора, возможно, продиктованная ему положением члена партии и личным прошлым, – то есть то, каким образом он представляет себе или изображает другим конечный результат современного движения, современного общественного процесса, не имеет ничего общего с его реальным анализом». Итак, Маркс, обличая самого себя в “тенденциозных выводах” своего объективного анализа и по иронии этого “возможно”, относящегося к влияющим на выбор вненаучным обстоятельствам, которыми он был связан, в то же время демонстрирует методологический ключ слияния этих двух аспектов.

90

Именно в самой исторической борьбе необходимо осуществлять слияние познания и действия, так, чтобы каждая из сторон находила в другой обеспечение своей истинности. Складывание пролетарского класса как субъекта – это и организация революционной борьбы и организация общества в *революционный момент*; ибо именно в этом и должны осуществляться *практические условия сознания*, в которых

теория практической деятельности подтверждает себя, превращаясь в практическую теорию. Однако как раз этот центральный вопрос об организации менее всего был осознан революционной теорией в эпоху зарождения рабочего движения, то есть когда эта теория еще обладала *единым* характером, проистекавшим из исторической мысли (и когда она как раз и ставила себе задачу развиться до единой исторической *практики*). И напротив, здесь самое *непродуманное* место этой теории, допускающей воспроизведение государственных и иерархических прикладных методов, заимствованных у буржуазной революции. Формы организации рабочего движения, развившиеся из этого отказа от теории, наоборот, имели склонность препятствовать сохранению единой теории, расплывая ее на различные специализированные и частные формы познания. Теперь идеологическое отчуждение теории более не может признавать результаты практического подтверждения единого исторического мышления, им преданного, когда такое подтверждение теории возникает из спонтанной борьбы рабочих; это идеологическое отчуждение может лишь потворствовать подавлению подобных проявлений и памяти о них. Однако эти возникшие в борьбе исторические формы как раз и являются практической средой, которой недостает теории, чтобы быть истинной. Они сами – насущная потребность теории, но потребность, не сформулированная теоретически. *Совет* не был открытием теории. Но тем не менее уже в его практическом существовании заключалась наивысшая теоретическая истина Международного товарищества рабочих.

91

Первые успехи в борьбе вели Интернационал к избавлению от запутывающих влияний господствующей идеологии, что в нем еще сохранялись. Однако поражения и репрессии, с которыми он вскоре столкнулся, выдвинули на первый план конфликт между двумя концепциями пролетарской революции, при том, что обе концепции содержали некое *авторитарное* измерение, из-за которого идея сознательного самоосвобождения класса оказывалась заброшенной. На самом деле, ставшая непримиримой ссора между марксистами и бакунистами затрагивала сразу два аспекта: власть в революционном обществе и непосредственную организацию движения, причем при переходе от одного вопроса к другому позиции противников взаимооборачивались. Бакунин боролся с иллюзией отмены классов посредством авторитарного использования государственной власти, предвидя восстановление господствующего бюрократического класса и диктату-



ру наиболее знающих или тех, кого будут считать таковыми. Маркс же, считавший, что параллельное вызревание экономических противоречий и демократического образования рабочих должно ограничить роль пролетарского государства лишь этапом легализации новых объективно устанавливающихся общественных отношений, обличал у Бакунина и его сторонников авторитаризм подпольной элиты, которая сознательно ставила себя над Интернационалом и оформила сумасбродный план навязывания обществу безответственной диктатуры “революционеров по преимуществу” или называющих себя таковыми. И действительно, Бакунин вербовал своих сторонников именно для такой перспективы: «Невидимые штурманы посреди народной бури, мы должны руководить ею, но не конкретной видимой властью, а через коллективную диктатуру всех ее *союзников*. Диктатуру без титулов и знаков отличий, без официальных прав, диктатуру тем более мощную, что она лишена будет внешней видимости власти». Так противопоставляли себя друг другу две *идеологии* рабочей революции, каждая из которых частично содержала справедливую критику, но, утрачивая единство исторического мышления, возводила себя на пьедестал идеологического *авторитета*. Мощные организации, такие, как немецкая социал-демократия и Иберийская федерация анархистов, верно служили той или иной из этих идеологий, но повсюду результат был весьма отличен от ожидаемого.

92

То обстоятельство, что анархисты рассматривают цель пролетарской революции как *непосредственно наличную*, составляет сразу и величие, и слабость их реальной борьбы (ибо в индивидуалистических вариантах претензии анархистов остаются смехотворными). От исторического мышления современной классовой борьбы коллективистский анархизм сохраняет только выводы, а его абсолютная потребность в них именно и проявляется в намеренном пренебрежении методом. Так что его критика *политической борьбы* остается абстрактной, тогда как его выбор в экономической борьбе сам по себе подтверждается только в иллюзорной перспективе некоего окончательного решения, разом материализующегося в день всеобщей забастовки или восстания. Анархисты *должны осуществлять некий идеал*. Анархизм – это *все еще идеологическое* отрицание государства и классов, то есть самих общественных условий идеологии, основанной на разделении. Именно *идеология чистой свободы* уравнивает всех и устраняет всякую идею исторического зла. Эта точка зрения, соединяющая все частные потребности, приписала анархизму заслу-

гу представлять отказ от существующих условий ради всей жизни в целом, а не только от имени некой привилегированной критической специализации. Но это слияние, если по индивидуальной прихоти рассматривать его как абсолют, до его действительного осуществления, также обрекало анархизм на слишком уж легко устанавливаемую непоследовательность. В каждом конкретном эпизоде борьбы анархизму приходится только твердить и использовать вновь и вновь одно и то же простое всеобщее заключение, ибо это первое заключение с самого начала было отождествлено с полным завершением движения. И потому, в 1873 году покидая Юрскую Федерацию, Бакунин мог написать: «За девять последних лет в недрах Интернационала расплодилось больше идей по спасению мира – как если бы идеи сами по себе могли его спасти, – чем нужно, и теперь я брошу вызов любому, кто бы он ни был, кто изобретет еще одну новую. Время идей прошло, наступило время фактов и поступков». Несомненно, эта концепция сохраняет в историческом мышлении пролетариата ту уверенность, что идеи должны становиться практическими, но она покидает историческую почву, полагая, будто адекватные формы этого перехода к практике уже найдены и больше никогда не изменятся.

93

Анархисты, которые явно отличаются от рабочего движения в целом своей идеологической убежденностью, в дальнейшем воспроизведут внутри себя это разделение ролей, создав в своей среде благоприятные условия для неформального господства над всей анархистской организацией пропагандистов и защитников их собственной идеологии – специалистов более чем посредственных, ибо вся их интеллектуальная активность в принципе сводилась к повторению нескольких окончательных истин. Идеологическое почтение к единодушию в принятии решений в самой организации благоприятствовало, прежде всего, неконтролируемой власти *профессионалов свободы*, так что революционный анархизм ожидал от освобожденного народа такого же рода единодушия, обретаемого теми же средствами. В остальном отказ рассматривать противоположность ситуаций некоего меньшинства, сгруппировавшегося ради текущей борьбы, и общества свободных индивидов лишь усиливал постоянную оторванность анархистов от масс в момент принятия общего решения, как то показывают примеры бесчисленных анархистских восстаний в Испании, слишком ограниченных и подавленных на местном уровне.

Иллюзия, более или менее явно поддерживаемая в подлинном анархизме, — это иллюзия постоянной необратимой близости революции, которая, осуществившись в одно мгновение, должна придать основание и идеологии, и производному от идеологии способу практической организации. В 1936 году анархизм действительно привел к социальной революции и к самой что ни на есть радикальной попытке установления пролетарской власти. Но нужно отметить, что в этих обстоятельствах, с одной стороны, общее восстание было навязано военным переворотом, с другой же, в той мере, в какой эта революция не была завершена в первые дни, и оттого, что на половине территории страны существовала власть франкистов, опиравшихся на мощную поддержку из-за границы, а остатки интернационального пролетарского движения были уже разгромлены, а также из-за сохранения сил буржуазии и других прогосударственных рабочих партий в республиканском лагере организованное анархистское движение показало себя не способным не только расширить половинчатые победы революции, но даже просто их защитить. Его признанные вожди стали министрами и заложниками буржуазного государства, которое уничтожило революцию ради того, чтобы проиграть гражданскую войну.

“Ортодоксальный марксизм” II Интернационала — это научная идеология социалистической революции, которая отождествляет всю свою истинность с объективным процессом в экономике и с прогрессом признания этой необходимости рабочим классом, обученным посредством организации. Эта идеология начинает питать характерное для утопического социализма доверие к педагогическому доказательству, но теперь оно приправлено *созерцательной* установкой по отношению к ходу истории. Впрочем, эта установка теперь утрачивает гегельянское измерение всеобщей истории, как и неподвижный образ всеобщности, имевший место в утопической критике (в наиболее высокой степени у Фурье). Из такой научной установки, которая не могла сделать меньшего, чем реанимировать симметрию этических решений, из которых и ведут начало нелепые рассуждения Гильфердинга, когда тот уточняет, что признание необходимости социализма не дает никакого «указания на практическую установку, которую нужно принять. Ибо одно дело — признавать необходимость, и совсем другое — поставить себя на службу этой необходимости» (*Финансовый капитал*). Не признававшие, что единое историческое мышле-

ние для Маркса и для революционного пролетариата *несколько не отличалось от практической установки, которую нужно принять*, как правило, становились естественными жертвами практики, которую они одновременно принимали.

96

Идеология социал-демократической организации отдала ее во власть воспитывавших рабочий класс *профессоров*, а принятая форма организации вполне соответствовала этому пассивному ученичеству. Участие социалистов II Интернационала в политической и экономической борьбе было, конечно же, конкретным, но глубоко *некритическим*. Эта борьба велась во имя *революционной иллюзии*, но в соответствии с откровенно *реформистской* практикой. Таким образом, революционной идеологии суждено было быть разрушенной самими успехами ее носителей. Выделение из движения депутатов и журналистов толкало к буржуазному образу жизни тех, кто и так уже был рекрутирован из среды буржуазных интеллектуалов. Те же, кто был рекрутирован из среды промышленных рабочих и извлечен из нее, профсоюзная бюрократия превращала в маклеров, представляющих на продажу по надлежащей цене рабочую силу в качестве товара. Для того, чтобы их деятельность в глазах остальных сохраняла хоть что-то революционное, нужно было, чтобы капитализм на тот момент был не способен *воспринять* экономически тот реформизм, который он в их законопослушной агитации терпел политически. Именно такая несовместимость обеспечивалась их наукой, но всякий раз развенчивалась историей.

97

Этому противоречию, действительность которого честно желал продемонстрировать Бернштейн, потому что он был социал-демократом, наиболее далеким от политической идеологии и наиболее откровенно примыкавшим к методологии буржуазной науки, (чью действительность засвидетельствовало и реформистское движение английских рабочих, обходившееся без революционной идеологии), предстояло, однако, обрести безусловное доказательство лишь в самом историческом развитии. Хотя Бернштейн и был полон разнообразных иллюзий, он оспаривал то, что кризис капиталистического производства каким-то чудесным образом сам принудит к действию социалистов, желающих унаследовать революцию не иначе как сакрально-легитимным образом. Несмотря на то, что эпоха глубоких общественных потрясений, наступившая вместе с началом Первой миро-

вой войны, и была плодотворна для формирования сознания, она дважды продемонстрировала, что социал-демократическая иерархия революционно не воспитала и никоим образом не *сделала теоретиками* немецких рабочих: в первый раз, когда подавляющее большинство членов партии открыто поддержало империалистическую войну, и затем, когда уже после поражения оно подавило революционных спартаковцев. Экс-рабочий Эберт к тому же верил в греховность, признаваясь, что ненавидит революцию “как грех”. И тот же самый вождь проявил себя истинным предтечей *социалистического представительства*, что немного позже противопоставило себя как абсолютного врага пролетариату России и других стран, точно сформулировав программу этого нового отчуждения: «Социализм – это значит много работать».

98

Ленин как марксистский мыслитель был всего-навсего последовательным и *верным каутскианцем*, применившим *революционную идеологию* этого “ортодоксального марксизма” в русских условиях, которые не допускали никакой реформистской практики, в отличие от осуществлявшейся II Интернационалом. *Внешнее* руководство пролетариатом, проводившееся средствами дисциплинированной подпольной партии, подчиненной интеллектуалам, ставшим “профессиональными революционерами”, сделало из нее профессиональную группу, не пожелавшую заключить союз ни с одной из правящих профессиональных групп капиталистического общества (впрочем, царский политический режим и не был способен предложить такой выход, ибо социальная база такового предполагает более развитую стадию буржуазной власти). И потому она становится *группой профессионалов по абсолютному руководству обществом*.

99

Вместе с мировой войной и связанным с ней крахом международной социал-демократии авторитарный идеологический радикализм большевиков распространился по всему миру. Кровавый конец демократических иллюзий рабочего движения превратил весь мир в Россию, и большевизм, воцарившийся на первом революционном переломе, вызванном этим эпохальным кризисом, предложил пролетариату всех стран свою иерархическую и идеологическую модель: “говорить по-русски” с господствующим классом. Ленин упрекал марксизм II Интернационала не за то, что он был революционной *идеологией*, но за то, что он перестал ею быть.

В тот же исторический момент, когда большевизм триумфально осуществился в России, а социал-демократия победоносно боролась за *старый мир*, становится зримым окончательное возникновение нового порядка вещей, бытующего в самом средоточии господства современного спектакля: *рабочее представительство* радикально противопоставило себя своему классовому началу.

«Во всех предшествующих революциях, – писала Роза Люксембург в *Rote Fahne* 21 декабря 1918 года, – сражающиеся сходились с открытым забралом: класс против класса, программа против программы. В революции настоящей силы, защищающие старый порядок, выступают не под вывеской правящих классов, но под флагом “социал-демократической партии”. Если бы главный вопрос революции был поставлен открыто и честно: капитализм или социализм, – никакие сомнения и колебания для огромной массы пролетариата были бы сегодня невозможны». Вот так, за несколько дней до своего разгрома радикальное течение немецкого пролетариата вскрыло тайну новых условий, сформированных всем ходом предшествовавшего развития (чему в огромной степени способствовало рабочее представительство): театральная организация защиты существующего порядка, общественное господство кажимостей, где никакой “главный вопрос” уже не может ставиться “открыто и честно”. Революционное представительство пролетариата на этой стадии стало сразу и главным фактором, и основным результатом общей фальсификации общества.

Организация пролетариата по большевистской модели, порожденная и отставанием России, и отказом рабочего движения развитых стран от революционной борьбы, обнаружит в русском отставании и все те условия, что затем приводят эту форму организации к контрреволюционному оборачиванию, предрасположенность к которому она бессознательно заключала в себе изначально. Неоднократные же отступления массы европейского рабочего движения перед вызовом *Hic Rhodus hic salta* в период 1918 -1920 годов, – отступления, потворствовавшие насильственному разгрому радикального меньшинства пролетариата, благоприятствовали полному развитию этого процесса, так что его ложный результат смог выступить перед миром как естественный исход пролетарского движения. Захват государствен-

ной монополии на представление и защиту власти рабочих, оправдывавший партию большевиков, вынудил ее *стать тем, чем она была*: партией собственников пролетариата, по существу исключившей прежние формы собственности.

103

Все условия ликвидации царизма, в течение 20 лет разбираемые во всегда неудовлетворительных теоретических дебатах различных тенденций русской социал-демократии: слабость буржуазии, давление крестьянского большинства, решающая роль сосредоточенного и боевого пролетариата, хотя и составлявшего чрезвычайное меньшинство в стране, — в конце концов обнаружилось в практике ее решений через не представленную в ее гипотезах данность: революционная бюрократия, которая направляла пролетариат, овладев государством, навязала обществу новое классовое господство. Буржуазная революция в строгом смысле была невозможна, “демократическая диктатура рабочих и крестьян” — лишена смысла; пролетарская власть Советов не могла удержаться одновременно против класса собственников-крестьян, белогвардейской и международной реакции и собственного отчужденного и овнешненного представительства в виде рабочей партии абсолютных хозяев государства, экономики, средств выражения, а вскоре и мысли. Теория перманентной революции Троцкого и Парвуса, к которой в апреле 1917 г. на самом деле присоединился и Ленин, была единственной теорией, которой суждено было стать истинной — но только после введения неизвестного фактора, каковым была классовая власть бюрократии, — для отсталых в отношении общественного развития буржуазии стран. Тезис о необходимости сосредоточения диктатуры в руках высшего идеологического представительства в многочисленных дебатах большевистского руководства наиболее последовательно защищался Лениным. И Ленин каждый раз оказывался прав по отношению к своим противникам, потому что отстаивал решение, уже предполагаемое предыдущими решениями власти абсолютного меньшинства: ибо в демократии, в которой через *государственные решения* было отказано крестьянам, необходимо было отказать и рабочим, что далее привело к отказу в ней и коммунистам, руководящим профсоюзами, и, в конце концов, всей партии вплоть до ее иерархической верхушки. На X съезде в момент, когда Кронштадтский Совет был разгромлен войсками и погребен под горами клеветы, Ленин сформулировал заключение, направленное против левацких бюрократов, организованных в “Рабочую оппозицию”, чью логику Сталин доведет до логики свершив-

шегося раздела мира: «Либо — тут, либо — там, с винтовкой, а не с оппозицией... оппозиции теперь конец, крышка, довольно нам оппозиций!»

104

Бюрократия, оставшаяся единственной собственницей *государственного капитализма*, прежде всего, путем временного союза с крестьянством, обеспечила свою власть внутри страны, а после Кронштадта, во времена “новой экономической политики”, защищая ее на международной арене, использовала рабочих, внедренных в бюрократические партии III Интернационала, в качестве резервной силы русской дипломатии — для саботирования революционного движения и поддержки буржуазных правительств, на чью помощь она рассчитывала в международной политике (власть Гоминьдана в Китае 1925 — 1927 годах, Народный фронт в Испании и Франции и т. д.). Но бюрократическому обществу еще только предстояло добиться собственного окончательного оформления через террор по отношению к крестьянству, чтобы осуществить самое жестокое в истории первоначальное накопление капитала. Эта индустриализация сталинской эпохи вскрывает последнюю реальность *бюрократии*: она — продолжение власти экономики, спасение самой сути рыночного общества, только теперь это — труд как товар. Это доказательство того, что независимая экономика распространяет свое господство над обществом вплоть до воссоздания в собственных целях необходимого для нее классового господства; иными словами, буржуазия создает некую автономную мощь, которая до тех пор, пока сохраняется эта автономия, может обходиться даже и без буржуазии. Тоталитарная бюрократия является не «последним классом собственников в истории», в смысле Бруно Рицци, а только *эрзацем господствующего класса* рыночной экономики. Отсутствующая капиталистическая частная собственность замещается менее диверсифицированным упрощенным субпродуктом, *сосредоточенным* в коллективной собственности бюрократического класса. Эта недоразвитая форма господствующего класса является также выражением экономической недоразвитости и не имеет иной перспективы, кроме как постоянно нагонять отставание в подобном развитии в некоторых регионах мира. Именно рабочая партия, организованная по буржуазной модели общественного разделения, и обеспечила это дополнительное издание господствующего класса кадрами государственной иерархии. Находясь в сталинской тюрьме, Антон Цылига отмечает: «Выходит, что вопросы технической организации являются социальными» (*Ленин и революция*).



105

Революционная идеология – это *сплачивание разделенного*, интенсивнейшее волюнтаристское усилие к осуществлению какового явлено в ленинизме, – предполагает овладение отторгающей ее действительностью, при сталинизме, однако, она *вновь возвращается к своей истинности в бессвязности*. И в этот момент идеология уже не оружие, но цель. Ложь, более не опровергаемая, превращается в безумие. Действительность, как и цель, размывается в тоталитарной идеологической пропаганде: все, что она говорит, и есть то, что есть. Теперь это – местный примитивизм спектакля, чья роль в развитии спектакля мирового тем не менее является очень существенной. Материализовавшаяся в нем идеология не преобразовала мир экономически, подобно достигшему стадии избыточности капитализму, – она только по-полицейски трансформировала *восприятие*.

106

Идеологически-тоталитарный класс у власти есть власть обращенного мира: чем он сильнее, тем более он утверждает, будто его не существует, и сама его сила служит ему, прежде всего, для того, чтобы утверждать свое несуществование. Он скромнен лишь в этом пункте, ибо его формальное несуществование должно также совпадать с *пес plus ultra* исторического развития, чьему непогрешимому управлению все как раз и должны быть обязаны. Повсюду выставленная на обозрение бюрократия должна быть *классом, невидимым* для сознания, так что вся общественная жизнь становится безумной. Из этого фундаментального противоречия и вытекает социальная организация абсолютной лжи.

107

Сталинизм был царством ужаса и для самого бюрократического класса. Терроризм, обосновавший власть этого класса, неизбежно должен был поразить и сам этот класс, ибо последний не обладал никакими юридическими гарантиями, никаким признанным существованием в качестве класса собственников, которые он мог бы распространить на каждого из своих членов. Его действительная собственность остается скрытой, и он превращается в собственника лишь посредством ложного сознания. Ложное же сознание поддерживает свою абсолютную власть только через абсолютный террор, при котором в конце концов угасает всякая истинная мотивация. Члены находящегося у власти бюрократического класса имеют право на обладание обществом лишь коллективно, как соучаствующие в одной фун-

даментальной лжи, ибо необходимо, чтобы они играли роль пролетариата, управляющего социалистическим обществом, и были исполнительными актерами, верными сценарию идеологической неверности. Но действительное соучастие в этом ложном бытии должно рассматривать себя как признанное в качестве подлинной сопричастности. Ни один бюрократ не может индивидуально удерживать свое право на власть, ибо показать, что он является социалистическим пролетарием, значило бы проявить себя как полная противоположность бюрократу, показать же, что он является бюрократом, – совершенно невозможно, поскольку официальная истина бюрократии – это не быть. Итак, каждый бюрократ существует в абсолютной зависимости от *главной* идеологической *гарантии*, которая признает коллективную сопричастность к своей “социалистической власти” *всех бюрократов, которых она не уничтожает*. И если всё решают все вместе взятые бюрократы, то сплоченность их собственного класса может обеспечиваться лишь через сосредоточение их террористической власти на одной личности. В этой личности сохраняется единственная практическая истина лжи, находящейся у *власти*: никогда не обсуждаемое определение ее постоянно выправляемого предела. Сталин без каких-либо обсуждений решал, кто же в конечном счете является владетельным бюрократом, то есть кого следует называть «пролетарием у власти», а кого «предателем на содержании Микадо и Уолл-стрита». Бюрократические атомы находили общую суть собственного права только в личности Сталина. И Сталин был властителем мира, таким образом осознающим себя абсолютной личностью, для чьего сознания не существовало более высокого разума. «Властитель мира обладает действительным сознанием того, что он такое, – универсальная власть над действительностью, осуществляемая в разрушительном насилии, направленном им против ему предстоящих я его подданных». В то же время он и власть, определяющая основание господства, но и *«мощь, взрывающая это основание»*.

108

Когда идеология, посредством обладания абсолютной властью ставшая абсолютной, превратилась из частного познания в тоталитарную ложь, историческое мышление было уничтожено столь основательно, что сама история даже на самом эмпирическом уровне познания уже не могла существовать. Тоталитарное бюрократическое общество живет в вечном настоящем, где все, что случается, существует только как подлежащее его надзору пространство. Сформулированный еще Наполеоном принцип «по-монаршьи править энерги-

ей воспоминаний» обрел полную конкретизацию в постоянной манипуляции прошлым в сфере не только значений, но и фактов. Но ценой этого освобождения от всякой исторической реальности является утрата рациональной референции, которая необходима для *исторического общества капитализма*. Известно, чего стоило русской экономике научное приложение обезумевшей идеологии, взять хотя бы самонадеянное невежество Лысенко. Это противоречие управляющей индустриализованным обществом тоталитарной бюрократии, зажатой между своей потребностью в рациональном и отказом от рационального, составляет также один из ее главных недостатков по сравнению с нормальным капиталистическим развитием. Наряду с тем, что бюрократия хуже решает вопросы сельского хозяйства, она в конечном счете уступает капитализму и в индустриальном производстве, авторитарно планируемом на основе нереалистичности и возводимой в принцип лжи.

109

Революционное рабочее движение между двумя войнами было уничтожено совместными действиями сталинской бюрократии и фашистского тоталитаризма, который заимствовал свою организационную форму у проводшей эксперимент в России тоталитарной партии. Фашизм был чрезвычайным средством защиты буржуазной экономики, находящейся под угрозой кризиса и пролетарского ниспровержения, объявленным в капиталистическом обществе *осадным положением*; им это общество себя спасало и устраивало срочную первичную рационализацию, в массовом порядке вынуждая государство вмешаться в его управление. Но такая рационализация сама была отягощена чудовищной нерациональностью своих средств. Если фашизм и был направлен на защиту главных ценностей ставшей консервативной буржуазной идеологии (семья, собственность, моральный порядок, нация), объединяя мелкую буржуазию и безработных, обезумевших от кризиса или разочарованных бессилием социалистической революции, то сам он, по существу, идеологическим не являлся. Он был тем, за что себя выдавал: насильственным восстанием *мифа*, требующим сопричастности к сообществу, определяющемуся архаическими псевдо-ценностями расы, крови, вождя. Фашизм — это *технически оснащенная архаика*. Его разложившийся мифический *эрзац* и воспроизводится в зрелищном контексте наисовременнейшими средствами психологической обработки и конструирования иллюзий. Таким образом, он является одним из факторов в формировании современного спектакля, так же как его участие в разрушении прежнего рабочего движения превратило его в одну из сил, заложив-

ших основы современного общества. Однако, поскольку фашизм также оказался и наиболее *дорогостоящей формой* поддержания капиталистического порядка, ясно, что ему пришлось покинуть авансцену, где главные роли играют капиталистические государства, и его заменили более рациональными и устойчивыми формами этого порядка.

110

Когда русской бюрократии наконец удалось отделаться от последних следов буржуазной собственности, которые сковывали ее господство над экономикой, развить эту экономику для использования в собственных целях и добиться признания великих держав на международной арене, она возжелала спокойно наслаждаться собственной частью мира и ликвидировать ту долю произвола, которую она применяла к самой себе, — и она разоблачает сталинизм, ею же порожденный. Но такое разоблачение само остается сталинистским, произвольным, необъяснимым, без конца корректируемым, ибо *идеологическая ложь его происхождения никогда не может быть открыта*. Таким образом, бюрократия не в силах либерализовать себя ни культурно, ни политически, ибо ее существование как класса зависит от ее идеологической монополии, которая при всей своей тяжеловесности является ее единственным видом собственности. Идеология, несомненно, утратила страсть к позитивному самоутверждению, но то, что сохраняется в ее безразличной банальности, еще обладает той репрессивной функцией запрета малейшей конкуренции, которая держит скованной всю полноту мысли. Бюрократия, таким образом, связана с идеологией, в которую больше никто не верит. То, что было террористическим, превратилось в смехотворное, но эта смехотворность может поддерживаться только при сохранении на заднем плане террора, от коего она хотела бы освободиться. И даже тогда, когда бюрократия стремится показать свое превосходство над миром капитализма, она признает себя его *бедной родственницей*. Подобно тому, как ее действительная история находится в противоречии с ее правом, а ее невежество откровенно противоречит ее научным претензиям, ее планы соперничества с буржуазией в производстве товарного изобилия подрываются тем, что такое изобилие несет в себе *свою имплицитную идеологию* и обычно сопровождается бесконечно расширяющейся свободой ложных показных решений, псевдосвободой, которая остается несовместимой с бюрократической идеологией.

111

На современном этапе развития право бюрократии на идеологическую собственность рушится уже в международном масштабе. Власть,

установившаяся национально в качестве фундаментально интернационалистской модели, должна признать, что она не может больше претендовать на то, чтобы поддерживать свою ложную сплоченность за пределами каждой из национальных границ. Неравенство экономического развития, с которым столкнулись разные типы бюрократии с конкурирующими интересами, которым удалось вывести свой “социализм” за пределы одной страны, приводит к публичному и все-стороннему противостоянию лжи русской и лжи китайской. С этого момента каждая бюрократия, находящаяся у власти, или каждая тоталитарная партия, претендующая на власть, в некоторых национальных отрядах рабочего класса бесхозную после периода сталинизма, должна следовать своим собственным путем. Добавляющееся к проявлениям внутреннего отрицания, впервые представленного миру в рабочем восстании в Восточном Берлине, противопоставившем бюрократам свое требование «правительства металлургов», и однажды уже пришедшее к власти в форме рабочих советов в Венгрии, всемирное разложение союза бюрократической мистификации в конечном счете является наиболее неблагоприятным фактором для современного развития капиталистического общества. Теперь буржуазия теряет своего противника, который ее поддерживал объективно, иллюзорно сосредоточивая всякое отрицание существующего порядка. Такое разделение зрелищного труда приходит к концу, когда, в свою очередь, осуществляется разделение его псевдореволюционной роли. Зрелищный элемент разложения рабочего движения разлагается сам.

112

Сегодня у ленинистской иллюзии нет иной актуальной базы, кроме различных троцкистских течений, в которых отождествление пролетарского проекта с иерархической идеологической организацией сохраняется непоколебимым, несмотря на испытание всех последствий такового. Дистанция, отделяющая троцкизм от революционной критики современного общества, допускает и предполагает существование столь же почтительной дистанции, что он соблюдает в отношении позиций, уже бывших ложными, когда они применялись в реальной борьбе. Вплоть до 1927 года Троцкий оставался жестко спаянным с высшей бюрократией, стремясь полностью овладеть ею, дабы побудить к возобновлению действительно большевистского действия на внешней арене (известно, что в ту пору, чтобы помочь скрыть знаменитое “завещание Ленина”, он дошел даже до того, что подло отрекся от своего сторонника Макса Истмена, это завещание обнаруживавшего). Троцкий был осужден за свою главную идею, потому

что в эпоху, когда бюрократия по собственным плодам уже опознала себя внутри страны как контрреволюционный класс, ей также пришлось избрать контрреволюционность и во внешней политике во имя *будто бы проводимой у себя* революции. Последующая борьба Троцкого за IV Интернационал содержит ту же непоследовательность. Он всю свою жизнь отказывался признавать в бюрократии власть разделенного класса, так как в течение второй русской революции оказался безусловным сторонником большевистской формы организации. Когда Лукач в 1923 году показал в этой форме наконец обнаруженное опосредование между теорией и практикой, при котором пролетарии перестают быть “зрителями” событий, происходящих в их организации, но сознательно им содействуют и их переживают, он описывал в качестве действительных достоинств партии большевиков все то, чем партия большевиков *не являлась*. Помимо своей глубокой теоретической работы, Лукач оставался еще и идеологом, говорящим от имени власти, самым заурядным и грубым образом внешней по отношению к пролетарскому движению, полагая сам и заставляя верить, что он сам, всей своей личностью целиком находится внутри этой власти как *его собственной*. Когда же впоследствии раскрывалось, каким образом эта власть отрекалась от своих приспешников и подавляла их, Лукач, раз за разом разоблачая самого себя, с карикатурной четкостью демонстрировал, с чем в точности он себя отождествлял: с *противоположностью* самого себя и всего того, чего он придерживался в своей книге *История и классовое сознание*. Лукач лучше всех подтверждает основное правило, по которому судят обо всех интеллектуалах этого века: то, что они *почитают*, в точности соразмерно их собственной *ничтожной* реальности. Хотя Ленин не питал такого рода иллюзий насчет собственной деятельности, ибо понимал, что «политическая партия не может экзаменовать своих членов, чтобы выяснить, существуют ли противоречия между их философией и программой партии». Та действительная партия, чей романтический портрет совершенно нехотая нарисовал Лукач, была сплочена для выполнения лишь одной частной и конкретной задачи: захватить власть в государстве.

Неоленинистская иллюзия современного троцкизма, все время опровергаемая действительностью современного капиталистического общества, сколь буржуазного, столь и бюрократического, естественно находит привилегированное поле для своего применения в формально независимых “слаборазвитых” странах, где иллюзия любого

варианта государственного бюрократического социализма сознательно подтасовывается местными правящими классами как *попросту идеология экономического развития*. Гибридная смесь этих классов более или менее четко соотносится с некоей градацией в буржуазно-бюрократическом спектре. Их взаимодействие в международном масштабе между этими двумя полюсами существующей капиталистической власти, равно как и их идеологические компромиссы (особенно с исламизмом), выражающие гибридную реальность их социальной базы, завершаются изъятием из этого последнего субпродукта идеологического социализма всего существенного, за исключением его полицейской роли. Бюрократия может сформироваться, возглавляя и национально-освободительную борьбу, и аграрные бунты крестьян, – и тогда, как это было в Китае, она стремится в обществе, менее развитом, чем Россия 1917 года, применять сталинскую модель индустриализации. Бюрократия, способная индустриализовать нацию, может сформироваться на основе захватывающих власть военных кадров из среды мелкой буржуазии, как это было в Египте. В других местах, как в Алжире по окончании войны за независимость, бюрократия, сложившаяся во время войны как полугосударственное руководство, ищет точку равновесия в компромиссе, чтобы слиться со слабой национальной буржуазией. Наконец, в бывших колониях Черной Африки, которые остаются очевидно связанными с западной буржуазией, американской и европейской, буржуазия складывается (чаще всего на основе власти традиционных племенных вождей) *через обладание государством*, ибо в тех странах, где иностранный империализм остается истинным хозяином экономики, наступает некая стадия, когда *компрадоры* в качестве компенсации за продажу туземных продуктов получают собственность на туземное государство, независимое от местных народных масс, но не от империализма. В этом случае речь идет о некоей искусственной буржуазии, которая не способна накапливать, но просто *транжирит* часть прибавочной стоимости местного труда, возвращаемую ей в виде иностранных субсидий покровительствующих государств или монополий. Очевидная неспособность этих буржуазных классов выполнять нормальную экономическую функцию буржуазии приводит к тому, что для их ниспровержения собираются организованные по бюрократической модели, более или менее приспособленной к местным условиям, силы, которые желают захватить ее достояние. Но и сам успех бюрократии в ее фундаментальном проекте индустриализации необходимо содержит в себе перспективу ее исторического поражения,

ибо, накапливая капитал, она сосредоточивает пролетариат, тем самым содействуя созданию прежде не существовавших предпосылок для собственного ниспровержения.

114

В том сложном и ужасном развитии, ввергнувшем эпоху классовых битв в новые условия, пролетариат индустриальных стран полностью утратил утверждение своей автономной перспективы и в конечном счете свои иллюзии, но не свое бытие. Он не был уничтожен. Он неумолимо продолжает существовать в интенсифицированном отчуждении современного капитализма, ибо он — это громадное большинство трудящихся, потерявших всякую власть распоряжаться собственной жизнью, которые, *осознавая это*, заново определяют себя как пролетариат, как действующее в этом обществе отрицание. Этот пролетариат объективно усиливается как продолжающимся исчезновением крестьянства, так и распространением логики заводского труда, переносимой на значительную часть “сферы услуг” и интеллектуальных профессий. *Субъективно* этот пролетариат еще отделен от его практического классового сознания, и не только в среде служащих, но и в среде рабочих, еще только открывающих беспомощность и мистификации старой политики. Однако когда пролетариат обнаруживает, что его собственная овнешненная сила способствует постоянному усилению капиталистического общества не только в форме его труда, но и в форме профсоюзов, партий или государственной власти, которые он создал ради собственного раскрепощения, то через конкретный исторический опыт он также открывает, что является классом, тотально враждебным всякому застывшему овнешнению и всякой властной специализации. Он несет в себе *революцию, неспособную ничего оставить внешним по отношению к самой себе*, требование постоянного господства настоящего над прошлым и тотальную критику разделения — и это именно то, для чего он должен найти адекватную форму в действии. Никакое количественное послабление его нищеты, никакие иллюзии иерархической интеграции не являются радикальным средством от его неудовлетворенности, ибо пролетариат поистине не может признать ни частную несправедливость, которую он когда-либо претерпел, ни, следовательно, *возмещение какой-либо частной несправедливости*, ни огромное число этих несправедливостей, но только *несправедливость абсолютную* — быть отброшенным на обочину жизни.



По новым знакам отрицания, непонимаемым и фальсифицируемым через общее обустройство спектакля, множащимся в экономически наиболее развитых странах, можно уже сделать вывод, что теперь началась новая эпоха: после первой попытки рабочего ниспровержения *теперь рухнуло само капиталистическое изобилие*. Когда антипрофсоюзная борьба западных рабочих подавляется, прежде всего, самими профсоюзами и когда мятежные молодежные движения заявляют первый, еще не оформленный протест, в котором тем не менее непосредственно заключен отказ от старой специализированной политики, от искусства и от повседневной жизни, — то как раз в этом проявляются две грани новой спонтанной борьбы, которая начинает вестись под новым обликом *криминального*. Это предзнаменования второго пролетарского штурма классового общества. И когда пропавшие дети этой все еще неподвижной армии вновь появятся на этом поле битвы, изменившемся, но оставшемся тем же самым, они последуют за новым “генералом Луддом”, который на этот раз бросит их на разрушение *машин дозволенного потребления*.

«Наконец-то открытая политическая форма, при которой могло бы осуществиться экономическое освобождение труда», в этом веке обрела свой четкий образ в Советах революционных рабочих, сосредоточивающих в себе все законодательные и исполнительные функции и образующих федерацию посредством делегатов, ответственных перед рядовыми членами и отзываемых в любой момент. Их фактическое существование было всего лишь непродолжительной попыткой действия, тут же опровергнутой и побежденной различными силами, защищающими классовое общество, причем в ряду таких зачастую оказывалось и их собственное ложное сознание. Паннекук справедливо настаивал на том обстоятельстве, что вопрос о выборе власти в Советах рабочих скорее “ставит проблемы”, чем предлагает решения. Но эта власть как раз и является местом, где проблемы революции пролетариата могут найти истинное решение. Это место, где воссоединяются объективные условия исторического сознания, осуществления прямой *активной* коммуникации, где заканчиваются специализация, иерархия и разделение и где существующие условия оказываются преобразованными «в условия единения». Здесь в борьбе против созерцательной установки может возникнуть пролетарский субъект, ибо его сознание равнозначно практической организации, которую он создает для себя, ибо само это сознание

неотделимо от сплоченного вторжения в историю и последовательного участия в ней.

117

Во власти Советов, которая в международном масштабе должна вытеснить всякую иную власть, пролетарское движение является ее собственным продуктом, а этот продукт и есть сам производитель. Он сам является своей собственной целью. Ибо только в нем, в свою очередь, отрицается зрелищное отрицание жизни.

118

Появление Советов было наивысшей реальностью пролетарского движения в первой четверти века, реальностью, оставшейся не- вос- принятой или извращенной, ибо она исчезла с остатками движения, разоблаченного и вытесненного совокупностью тогдашнего исторического опыта. Но теперь, в новую эпоху пролетарской критики, тот же итог возникает вновь в качестве единственного неопровергнутого и непреодоленного положения побежденного движения. Историческое сознание, знающее, что оно имеет в нем единственную область существования, теперь может признать его уже не только на периферии уходящего, но в самом средоточии надвигающегося.

119

Революционная организация, существовавшая до власти Советов (ей еще только суждено было в борьбе обрести собственную форму), по всем указанным историческим причинам уже знала, что она *не представляет* класса. И ей только нужно осознать самое себя как радикальное разделение с *миром разделения*.

120

Революционная организация есть последовательное выражение теории практической деятельности, вступающей в неоднолинейную коммуникацию с разными видами практической борьбы, постепенно претерпевая становление в практическую теорию. И ее собственная практика есть обобщение в этой борьбе и подобной коммуникации, и последовательности. В революционную эпоху разложения общественного разделения эта организация должна признать свое собственное разложение в качестве организации, основанной на разделении.

121

Революционная организация может существовать только как единая критика общества, то есть как критика, не вступающая в соглашения ни с одной формой власти, основанной на разделении, ни в одной

точке мира, как критика, повсеместно провозглашаемая против всевозможных видов отчужденной общественной жизни. В борьбе революционной организации против классового общества орудием является не что иное, как *сущность* самих сражающихся: ибо революционная организация не может воспроизводить в себе условия раскола и иерархии, которые являются условиями господствующего общества. Она должна постоянно бороться против собственного искажения в царящем спектакле. Единственный предел соучастия в тотальной демократии революционной организации – это признание и действительное самоприсвоение всеми ее членами последовательности ее критики, последовательности, которая должна свидетельствовать о себе в критической теории в собственном смысле и в связи последней с практической деятельностью.

122

Когда все более и более совершенное осуществление капиталистического отчуждения на всех уровнях все более затрудняет для рабочих возможность признать и обозначить их собственную нищету и таким образом ставит перед ними альтернативу: либо неприятие *тотальности их нищеты*, либо *ничто*, – революционная организация должна суметь понять, что она больше не может *бороться с отчуждением в отчужденных формах*.

123

Пролетарская революция вся целиком ставится под вопрос этой необходимостью, которая впервые выдвигает то требование, чтобы именно теория в качестве постижения человеческой практики была признана и пережита массами. Она требует, чтобы рабочие стали диалектиками и вписали свое мышление в рамки практики. Таким образом, она требует от *людей без свойств* гораздо большего, нежели буржуазная революция требовала от тех профессионалов, которым было препоручено ее осуществление; ведь частичное идеологическое сознание, выстроенное рядом представителей буржуазного класса, имело своей основой ту центральную *часть* общественной жизни – экономику, – где этот класс *уже был у власти*. Значит, само развитие классового общества в зрелищную организацию не-жизни ведет революционный проект к становлению *в очевидности* тем, чем он уже был *сущностно*.

124

Сегодня революционная теория – враг любой революционной идеологии, и она знает, что является таковой.

## ГЛАВА 5

### ВРЕМЯ И ИСТОРИЯ

О. джентльмены. жизнь коротка... И если уж мы живем, то живем, чтобы ходить по головам королей.

У. Шекспир. Генрих IV.

125

Человек, «негативность, *сущее* лишь через снятие Бытия», тождествен времени. Присвоение человеком его собственной природы – это еще и его овладение развитием вселенной. «Сама история является важной частью *истории естественной*, истории становления природы в человека» (Маркс). И наоборот, эта «естественная история» обладает действительным существованием лишь благодаря процессу истории человеческой, той единственной ее части, которая воссоздает это историческое целое, – подобно современному телескопу, чья мощь позволяет достигать *во времени* туманности, уносящиеся на периферию вселенной. История существовала всегда, но не всегда она существовала в своей исторической форме. Такому овременению человека, как оно осуществляется в опосредовании общества, соответствует очеловечивание времени. Бессознательное движение времени проявляется и *становится истинным* в историческом сознании.

126

Собственно историческое движение, пусть *еще неявно*, начинается через медленное и неощутимое формирование «действительной природы человека», той «природы, что рождается в человеческой истории – в порождающем действии человеческого общества»; но даже общество, овладевшее техникой и языком, является продуктом собственной истории, осознает лишь вечное настоящее. В этом обществе любое познание, будучи ограниченным памятью старейших его членов, всегда поддерживается *живущими*. Ни смерть, ни размножение не понимаются как законы времени. Время остается неподвижным, подобно замкнутому пространству. Когда же ставшее более сложным общество приходит к осознанию времени, все его старания прежде всего направляются на отрицание времени, ибо оно видит в нем не то, что проходит, но то, что возвращается. Статичное общество организует время в соответствии со своим непосредственным опытом природы, по модели *циклического* времени.

Циклическое время господствует уже в опыте кочевых народов, ибо в каждом моменте их переходов они застают одни и те же условия, — и потому Гегель отмечает, что «странствие кочевников является лишь формальным, ибо оно не выходит за пределы однородных пространств». Общество, обосновываясь в определенной местности, придает пространству некое содержание через обустройство индивидуализированных мест и оказывается тем самым замкнутым внутри этого местоположения. Временной возврат в схожие места является теперь чистым возвратом времени в то же самое место, повторением последовательности действий. Переход же от пастушеского кочевничества к оседлому земледелию кладет предел ленивой и бессодержательной свободе и служит началом тяжелого труда. Вообще, способ сельскохозяйственного производства, подчиненный ритму времен года, является основой вполне развернутого циклического времени. Вечность *внутренне* присуща ему, ибо эта земная доля есть возвращение того же самого. Миф — это целостная мыслительная реконструкция мысли, обосновывающая весь космический порядок строем, который это общество на деле уже установило в своих границах.

Общественное присвоение времени, производство человека посредством человеческого труда развивается в обществе, разделенном на классы. Власть, установившаяся над скудостью общества циклического времени, класс, организующий этот общественный труд и присваивающий себе его ограниченную прибавочную стоимость, в равной степени присваивают также и *временную прибавочную стоимость* организации его общественного времени, и потому он исключительно для себя обладает необратимым временем живущего. Единственное богатство, которое может существовать как сосредоточенное в секторе власти, чтобы быть материально растраченным в расточительном празднике, оказывается в нем растраченным еще и в качестве растраты *исторического времени верхушки общества*. Собственникам исторической прибавочной стоимости принадлежит и познание, и использование переживаемых событий. Это время, отделенное от коллективной организации времени, преобладающее вместе с повторяющимся производством основ общественной жизни, течет над собственным неподвижным сообществом. Это время походов и войн, когда господа циклического общества проходят свою личную историю, но в равной степени это еще и время, возникаю-

щее в столкновении с чужими сообществами, время нарушения неизменного общественного строя. Следовательно, история захватывает людей врасплох как некая чуждая сила, как то, чего они не желали и от чего считали себя укрытыми. Но этим окольным путем возвращается также и то негативное *беспокойство* человеческого, бывшее в самом истоке всего развития, затем остановившегося.

129

Циклическое время само по себе является временем бесконфликтным. Однако в самом этом детстве времени уже заложен конфликт: ведь история борется прежде всего за то, чтобы быть историей практической деятельности господ. Эта история и создает необратимое на поверхности, ее движение составляет то самое время, которое исчерпывается ею внутри неисчерпаемого времени циклического сообщества.

130

“Холодные общества” — это общества, которые, удерживая в постоянном равновесии свое противостояние по отношению к человеческому и естественному окружению и внутренние противоречия между последними, до крайности замедлили свою историческую составляющую. И если крайнее разнообразие возникших ради этого институтов свидетельствует о гибкости самотворящей человеческой природы, то само подобное свидетельство, очевидно, может принадлежать только внешнему наблюдателю, этнографу, *вернувшись* из исторического времени. В каждом из этих обществ окончательная структуризация исключила изменение. Абсолютная косность существующих общественных практик, с коими оказываются навечно отождествлены все человеческие способности, теперь не имеет иного внешнего предела, кроме боязни вновь впасть в аморфность животного состояния. Здесь, чтобы оставаться в рамках человеческого, люди должны оставаться теми же самими.

131

Рождение политической власти, как представляется, связанное с последними великими техническими революциями, например такими, как плавка железа, на пороге периода, который вплоть до появления промышленности уже не узнает никаких глубоких потрясений, помимо прочего, представляет собой момент начала размывания кровнородственных связей. С той поры последовательность поколений выходит за пределы простого естественного цикла, для того чтобы стать ориентированной событийностью, последовательностью влас-

тных образований. Необратимое время – это время того, кто царствует, и его первой мерой являются династии. Его оружие – письменность. В письменности язык достигает полностью независимой реальности опосредования между сознаниями. Но эта независимость тождественна общей независимости власти, возникшей на основе разделения, как опосредование, которое конституирует общество. Вместе с письменностью появляется сознание, которое больше не переносится и не передается через непосредственную связь живых людей; это – *безличная память*, память общественного управления. «Письмена – это мысли государства, архивы – его память» (Новалис).

132

Хроника – это выражение необратимого времени власти, а также орудие, поддерживающее направленное волей поступательное движение этого времени исходя из предшествующего ему предначертания, и подобная направленность времени должна насильственно разрушаться вместе с падением каждой отдельной власти, впадая в безразличное забвение того циклического времени, которое только и знают крестьянские массы, никогда не изменяющиеся при крушении империй и их хронологий. *Властители истории* вложили во время некий смысл – направление, которое также является и означиванием. Но эта история разворачивается и распадается в стороне, оставляя неизменными глубинные основы общества, ибо она является как раз тем, что остается выделенным из обыденной действительности. Вот почему история империй Востока сводится для нас к истории религий: эти превратившиеся в развалины хронологии не оставили после себя ничего, кроме по видимости автономной истории окутывавших их иллюзий. Господа, которые под покровительством мифа овладевают *частной собственностью на историю*, на самом деле поначалу владеют ею в режиме иллюзии: и в Китае, и в Египте они долго обладали монополией на бессмертие души, точно так же, как их первые признанные династии являли собой воображаемое обустройство прошлого. Но это иллюзорное обладание господ также является и самым возможным в ту эпоху обладанием историей – как общей, так и их собственной. Расширение их действительной власти над историей происходит параллельно вульгаризации этого иллюзорного мифического обладания. Все это вытекает из того простого факта, что по мере того, как господа возлагали на себя обязанность посредством мифа обеспечивать постоянство циклического времени, подобно тому, как это было в сезонных ритуалах китайских императоров, сами они оказывались от него относительно свободными.

Когда же неразъясняемая сухая хронология обожествленной власти, говорящей со своими служителями, желает пониматься только в качестве земного исполнения мифических заповедей, но оказывается преодоленной и становится сознательной историей, возникает необходимость, чтобы действительное соучастие в истории было пережито более обширными человеческими группами. Из этого практического способа сообщения между теми, кто *признал в себе* обладателей особого настоящего, испытал качественное богатство событий как собственную деятельность, и как место, где они жили, — их эпоху, рождается всеобщий язык сообщения исторического. Те же, для кого необратимое время уже существовало, открывают в нем одновременно и *достопамятное*, и *угрозу забвения*: «Геродот из Галикарнаса излагает здесь добытые им сведения, дабы время не уничтожило деяния людей...»

Рассуждение об истории неотделимо от *рассуждения о власти*. Греция была тем мгновением, когда власть и ее изменение обсуждались и понимались, — *демократией господ* общества. Здесь были условия, противоположные условиям, характерным для деспотического государства, где власть всегда давала отчет только самой себе в непроницаемой тьме максимума своего самососредоточения — в *дворцовых переворотах*, успех или крах которых равным образом оставляли ее вне обсуждения. Между тем разделяемая власть греческих полисов существовала лишь в *расходовании* общественной жизни, производство которой оставалось в подневольном классе полностью отделенным и неизменным. Лишь тот, кто не работает, — живет. В дроблении греческих полисов и в борьбе за эксплуатацию иноземных колоний был распространен вовне принцип разделения, который обосновывал внутренне жизнь каждого из них. Греции, грезившей о всемирной истории, так и не удалось ни объединиться перед угрозой вторжения, ни даже унифицировать календари своих независимых городов. В Греции историческое время стало сознательным, но еще не осознающим самое себя.

После исчезновения локально благоприятных условий, которые были известны греческим городам, упадок западной исторической мысли не сопровождался восстановлением прежних мифических организаций. В столкновении народов Средиземноморья, в формировании и



падении Римского государства возникали *полуисторические религии*, становившиеся основополагающими факторами нового сознания времени и новыми доспехами власти, основанной на разделении.

136

Монотеистические религии были компромиссом между мифом и историей, между еще господствовавшим в производстве циклическим временем и необратимым временем, в котором сталкиваются и перемешиваются народы. Религии, вышедшие из иудаизма, содержат абстрактное универсальное признание необратимого времени, оказывающегося демократизированным, открытым для всех – но открытым в иллюзорное. Временем, полностью направленным на одно конечное событие: «Грядет Царствие Божие». Хотя эти религии родились и утвердились на исторической почве – даже в этом они удерживаются в радикальной оппозиции по отношению к истории. Полуисторическая религия устанавливает качественную точку отсчета времени – Рождество Христово, Хиджра Магомета, – но ее необратимое время (вводящее действительное накопление, которое в исламе затем примет облик завоевания, а в реформированном христианстве – накопления капитала) на самом деле превращается в религиозной мысли в некий *обратный отсчет*: ожидание во времени, которое исчерпывается, выхода в иной, истинный мир, ожидание Страшного Суда. Вечность вышла из циклического времени. Она есть его потустороннее. Она – элемент, умаляющий необратимость времени, упраздняющий историю в самой истории, помещающаяся в ней как чистая элементарная точка, в которой циклическое время вернулось и уничтожилось, выйдя *по ту сторону необратимого времени*. Еще Боссюэ скажет: «И через преходящее время мы входим в непреходящую вечность».

137

Средневековье – тот незавершенный мифический мир, чье завершение за его пределами есть момент, когда циклическое время, еще регулирующее основную часть производства, действительно подтачивается историей. Определенная необратимая временность индивидуально признается за всем: в последовательности возрастов жизни; в жизни, рассматриваемой как *странствие*, как безвозвратный переход в мир, чей смысл находится в ином месте, и посему человек является *паломником* – тем, кто выходит из циклического времени, чтобы действительно стать тем странником, которым знаковым образом является каждый. Личная историческая жизнь всегда находит свое исполнение в сфере власти, в участии в борьбе – ведущейся властью

или за власть; но необратимое время власти делится до бесконечности внутри общего упорядочивания, направленного времени христианской эры – в мире *вооруженного доверия*, где деятельность господ вращается вокруг требуемой верности долгу и ее опровержения. Это феодальное общество, рожденное из встречи «организационной структуры завоевательной армии, в том виде, как она развилась в ходе завоевания», и «производительных сил, обнаруженных в завоеванной стране» (*Немецкая идеология*) (а в организации этих производительных сил нужно учитывать и их собственный религиозный язык), – раздробило господство над обществом между Церковью и государственной властью, в свою очередь подразделенной в сложных отношениях сюзеренитета и вассалитета территориальных ленов и городских коммун. В этом разнообразии возможной исторической жизни необратимое время, бессознательно захватившее глубины общества, – время, проживаемое буржуазией в производстве товаров, в основании и расширении городов, торговом открытии Земли (практическом эксперименте, который навсегда покончил со всякой мифической организацией космоса), медленно проявляло себя как неведомая работа эпохи, когда великое официальное историческое предприятие этого мира потерпело крах вместе с крестовыми походами.

138

На закате Средневековья необратимое время, заполонившее общество, ощущалось сознанием, привязанным к старому порядку, в форме одержимости смертью. Такова меланхолия распада мира – последнего, где безопасность мифа еще уравнивала историю; и для этой меланхолии движение любой земной вещи было направлено к ее разложению. Великие восстания крестьян Европы также были попыткой *ответа на историю*, которая насильственно вырвала их из патриархального сна, обеспеченного феодальным покровительством. Именно миллениаристская утопия *осуществления рая на земле* выводит на первый план то, что было в самом истоке полуисторической религии, когда христианские общины, как и иудейское мессианство, из которого они происходили, на все беды и несчастья эпохи отвечали ожиданием близящегося осуществления Царства Божия и добавляли в античное общество элемент беспокойства и ниспровержения. Настала пора, и христианство, разделившее власть в империи, стало развенчивать как просто предрассудки то, что осталось от этого упования: таков смысл августиновского утверждения, прототипа всех *одобрений* современной идеологии, согласно которому утвердившаяся церковь уже давно и была тем царством, о котором го-

ворилось. Социальные бунты милленаристского крестьянства, естественно, определяются, прежде всего, как воля к разрушению Церкви. Но сам милленаризм разворачивается в историческом мире, а не на территории мифа. Однако это вовсе не означает того, что, как хочет продемонстрировать Норман Кон в *Поисках тысячелетнего царства*, упования современных революционеров являются иррациональным наследием религиозной страстности милленаризма. Совсем наоборот, именно милленаризм – революционная классовая борьба, последней говорившая языком религии, – уже и есть современная революционная тенденция, коей пока недостает *только исторического сознания*. Милленаристам суждено было потерпеть поражение, потому что они не могли признать революцию как их собственное действие. То обстоятельство, что они ожидали начала действия по внешнему знаку Божьего решения, было переводом в мышление той практики, при которой восставшие крестьяне следуют за вождями, не принадлежащими их среде. Крестьянский класс не мог достичь верного осознания того, как функционирует общество, и того, каким же образом следует вести собственную борьбу, именно потому, что ему не хватало условий для единения как в своем действии, так и в сознании; так что он выражал свои намерения и вел войны, сообразуясь с фантазиями о земном рае.

139

Новое овладение исторической жизнью – Возрождение, обнаруживающее в античности и свое прошлое, и свое право, несет в нее радостный разрыв с вечностью. Его необратимое время – это время бесконечного накопления познаний и исторического сознания, вышедшего из опыта демократических коммун; и даже разрушающие их силы будут воспроизводить, начиная с Макиавелли, рассуждения о десакрализованной власти, говорить невыразимое о государстве. В буйной жизни итальянских городов, в искусстве праздников жизнь узнавала себя как наслаждение мимолетностью времени. Но этому наслаждению мимолетным самому суждено было быть преходящим. Песня Лоренцо Медичи, которую Буркхардт считал выражением «самого духа Возрождения», – та хвала, в которой этот недолговечный праздник истории сам выносит себе приговор: «Как юность прекрасна, но как скоро проходит она».

140

Постоянное развитие монополизации исторической жизни государством абсолютной монархии формирует переход к полному господ-

ству класса буржуазии и выявляет в своей истине то, чем является новое необратимое время буржуазии. Именно со *временем труда*, впервые освобожденного от циклического времени, связана буржуазия. С появлением буржуазии труд стал *трудом, преобразующим исторические условия*. Буржуазия – это первый господствующий класс, для которого труд является стоимостью. И буржуазия, упраздняющая всяческие привилегии и не признающая никакой стоимости, которая не имела бы источником эксплуатацию труда, справедливо отождествила с трудом свою собственную ценность, как господствующего класса, и превратила прогресс труда в собственный прогресс. Класс, накапливающий товары и капитал, непрерывно видоизменяет природу, видоизменяя сам труд, стимулируя его производительность. Всякая общественная жизнь уже сосредоточилась вокруг декоративной бедности двора, в холодном наряде государственной администрации, которая достигает высшей точки в “ремесле короля”; любой же частной исторической свободе приходится пойти на признание своей утраты. Свобода необратимой временной деятельности феодалов исчерпалась в их последних проигранных битвах войн Фронды или восстания шотландцев за Чарльза-Эдварда. Мир изменился в своем основании.

141

Победа буржуазии – это победа *глубинного исторического времени*, так как оно является временем экономического производства, постоянно снизу доверху преобразующего общество. Пока сельскохозяйственное производство остается основным трудом, циклическое время, все еще присутствующее в глубинах общества, питает объединенные силы *традиции*, которые вот-вот затормозят движение. Но необратимое время буржуазной экономики искореняет такие пережитки по всему миру. История, вплоть до этого времени возникавшая только как деятельность представителей господствующего класса и поэтому писавшаяся как история событийная, теперь понимается как *всеобщее движение*, и индивиды приносятся в жертву этому суровому движению. История, которая отыскивает собственную основу в политической экономии, теперь знает о существовании того, что было ее бессознательным, но что тем не менее еще остается бессознательным, пока она не сможет извлечь его на свет. И только эту слепую предысторию, новую фатальность, над которой никто не властен, демократизировала рыночная экономика.

142

История, присутствующая по всей глубине общества, стремится затеряться на его поверхности. Триумф необратимого времени является к тому же его метаморфозой во *время вещей*, потому что оружием его победы как раз и служило серийное производство вещей соответственно с законами рынка. Основным продуктом, который экономическое развитие перевело из разряда редкостной роскоши в разряд обычного потребления, следовательно, была *история*, но только в качестве истории абстрактного движения вещей, господствующего над всяким качественным использованием жизни. Тогда как предшествовавшее циклическое время было основой все возрастающей доли исторического времени, проживаемого индивидами и группами, господство необратимого времени производства будет стремиться социально устранить это проживаемое время.

143

Таким образом, буржуазия заставила признать и навязала обществу необратимое историческое время, но отказало обществу в его *использовании*. «История была, но ее больше нет», потому что класс владельцев экономики, который уже не в состоянии порвать с *историей экономической*, должен также подавить как непосредственную угрозу всякое иное необратимое применение времени. Господствующий класс, созданный из *специалистов по владению вещами*, каковыми они сами являются, тем самым, благодаря этому овладению вещами, должен связать свою участь с поддержанием такой овеществленной истории, с постоянством новой неподвижности в *истории*. В первый раз трудящийся в самом основании общества материально не *чужд истории*, ибо теперь именно посредством этого основания общество развивается необратимо. В выдвигаемом им притязании *проживать* историческое время пролетариат попросту обнаруживает незабвенную суть своего революционного проекта, и каждая из попыток исполнения этого проекта, подавляемых вплоть до нашего времени, отмечает некую возможную точку отсчета новой исторической жизни.

144

Необратимое время пришедшей к власти крупной буржуазии было сначала представлено под ее собственным именем, как абсолютное начало – Год I Республики. Но революционная идеология всеобщей свободы, которая смела последние остатки мифической организации ценностей и всякую традиционную регламентацию общества, уже

начало – Год I Республики. Но революционная идеология всеобщей свободы, которая смела последние остатки мифической организации ценностей и всякую традиционную регламентацию общества, уже позволила заметить действительную волю к тому, что прежде она обряжала в римские тоги: ко всеобщей *свободе торговли*. Рыночное общество, обнаружившее тогда, что теперь ему придется восстанавливать пассивность, которую прежде нужно было основательно расшатать ради установления собственного полного правления, «обретает в христианстве с его культом абстрактного человека... наиболее подходящее религиозное дополнение» (*Капитал*). И тогда буржуазия пошла на установление компромисса с этой религией, выразившегося также и в представлении времени: отказавшись от собственного календаря, ее необратимое время вернулось к тому, чтобы формально слиться с *христианской эрой*, чью последовательность оно продолжает.

145

С развитием капитализма необратимое время *унифицируется в мировом масштабе*. Всемирная история становится реальностью, ибо весь мир включается в развертывание этого времени. Но история, что сразу и повсюду является одной и той же, – это, к тому же не более чем внутриисторический отказ от истории. Именно время экономического производства, расчлененное на равные абстрактные промежутки, появляется на всей планете как *один и тот же день*. Унифицированное необратимое время – это время *мирового рынка* и, соответственно, мирового спектакля.

146

Необратимое время производства является, прежде всего, мерой товаров. Следовательно, время, которое, таким образом, утверждается официально на всем пространстве мира как *обобщенное общественное время*, и обозначает лишь составляющие его специализированные интересы, *является только частным временем*.

## ГЛАВА 6

### ЗРЕЛИЩНОЕ ВРЕМЯ

У нас нет ничего, кроме времени, коим пользуются и те, кто не имеет даже пристанища.

*Бальтасар Грасиан. Карманный оракул, или наука благоразумия*

147

Время производства, товарное время – это бесконечное накопление эквивалентных интервалов. Это абстракция необратимого времени, все отрезки которого должны отмечать на хронометре только свое количественное равенство. Это время во всей своей фактической действительности есть то, что характеризуется *обмениваемостью*. Именно при таком общественном господстве товарного времени «время есть все, человек – ничто, он всего-навсего остов времени» (*Нищета философии*). Это обесцененное время – полное обращение времени как «пространства человеческого развития».

148

Всеобщее время человеческого не-развития существует также в дополнительном аспекте *времени потребляемого*, которое возвращается из этого определенного производства к повседневной жизни общества в качестве *времени псевдоциклического*.

149

Псевдоциклическое время на самом деле является только *потребляемым внешним обличьем* товарного времени производства. Оно сохраняет в себе его сущностные характерные черты обмениваемых гомогенных единиц и упразднения качественного измерения. Но, будучи субпродуктом того времени, которое предназначено для порождения отставания конкретной повседневной жизни (и для сохранения этого отставания), оно должно быть нагружено псевдооценками и являться в виде вереницы ложно индивидуализированных моментов жизни.

150

Время псевдоциклическое есть время потребления современного экономического выживания, прибавочная стоимость жизни, где повседневное проживание остается лишенным выбора и подчиненным, но уже не естественному порядку, а псевдо-природе, развившейся из отчужденного труда, а значит, это время *совершенно естественно* вновь обнаруживает старый циклический ритм, который регулиро-

вал выживание доиндустриальных обществ. Псевдоциклическое время и опирается на естественные следы циклического времени, и составляет с ним новые гомологические комбинации: день и ночь, еженедельный труд и отдых, повторение периодов отпусков.

151

Псевдоциклическое время – это время, которое было *преобразовано индустрией*. Время, имеющее основанием производство товаров, само является потребляемым товаром, который вбирает в себя все то, что прежде, на фазе разрушения старого неразделенного общества, различалось как жизнь частная, жизнь хозяйственная, жизнь политическая. Доходит до того, что все потребляемое время современного общества уже трактуется как первичный материал для новых диверсифицированных продуктов, которые выставляются на рынок как социально организованное распределение времени. «Продукт, уже существующий в той форме, которая его делает пригодным для непосредственного потребления, может, в свою очередь, стать первичным материалом для другого продукта» (*Капитал*).

152

В своем наиболее развитом секторе сосредоточенный капитализм ориентируется на продажу “полностью экипированных” блоков времени, каждый из которых представляет собой единый унифицированный товар, включивший в себя некоторое число различных товаров. Именно так могут появиться в захватывающей все новые сферы экономике “оказания услуг” и досуга форма оплаты “все включено”, для зрелищных зон расселения, коллективные псевдоперемещения отпусков, абонирование культурного потребления и продажа общения как такового в “ток-шоу” и “встречах с интересными людьми”. Этот вид зрелищного товара, который, несомненно, имеет хождение лишь по причине возросшего дефицита соответствующих реалий, с той же очевидностью занимает положение среди показательных изделий в сфере модернизации сбыта, будучи оплачиваемым в кредит.

153

Потребляемое псевдоциклическое время есть время зрелищное, одновременно и как время потребления образов в строгом смысле, и как образ потребления времени во всех смыслах. Время потребления образов – среда всех товаров – неразделимо выступает и как поле, где всецело задействованы инструменты спектакля, и как цель, которую они представляют глобально, и в качестве места и центрального образа всех частных видов потребления, – ибо известно, что выиг-



рыш во времени, к каковому постоянно стремится современное общество (идет ли речь о скорости транспортных средств или о пользовании супом из пакетиков), позитивно переводится для населения Соединенных Штатов в то единственное обстоятельство, что просмотр телевизора занимает в среднем от трех до шести часов в день. Общественный образ потребления времени, со своей стороны, находится исключительно под господством периодов досуга и отпусков, моментов, представляемых *на расстоянии* и желаемых через период предварительного ожидания подобно любому зрелищному товару. Этот товар эксплицитно подается здесь как момент действительной жизни, чьего циклического возвращения необходимо ждать. Но в самих этих моментах, относимых к настоящей жизни, именно спектакль демонстрирует и воспроизводит себя, достигая к тому же своей наивысшей интенсивности. То, что было представлено как действительная жизнь, открывает себя просто как жизнь наиболее *действительно зрелищная*.

154

Эта эпоха, которая показывает самой себе свое время как являющееся, в сущности, ускоренным возвратом всевозможных празднеств, равным образом является эпохой без праздника. То, что в циклическом времени было моментом соучастия сообщества в роскошном растрачивании жизни, невозможно для общества без сообщества и без роскоши. Когда его вульгаризированные псевдопраздники, пародии на диалог и на дар, побуждают к излишним экономическим тратам, они сводятся лишь к разочарованию, всегда компенсируемому обещанием нового разочарования. В спектакле время современного выживания должно предлагаться тем более по высокой цене, чем более снижается его потребительная стоимость. Действительность времени оказалась замещенной *рекламой* времени.

155

Тогда как потребление циклического времени в древних обществах происходило в соответствии с реальным трудом этих обществ, псевдоциклическое потребление развитой экономики оказывается в противоречии с необратимым абстрактным временем ее производства. Тогда как циклическое время было временем неподвижной иллюзии, переживаемой реально, время зрелищное является временем трансформирующейся реальности, проживаемым иллюзорно.

156

То, что всегда является новым в процессе производства вещей, не обнаруживается в потреблении, остающимся расширенным возвращением того же самого. Именно потому, что мертвый труд продолжает господствовать над трудом живым, в зрелищном времени прошлое господствует над настоящим.

157

Как другая сторона общего дефицита исторической жизни, индивидуальная жизнь все еще не имеет истории. Псевдособытия, которые теснятся в зрелищной драматизации, не были пережиты теми, кто был о них информирован, и более того, они теряются в инфляции их ускоренного замещения, с каждым новым импульсом зрелищной машинерии. С другой стороны, действительно пережитое существует вне всякой связи с необратимым официальным временем общества и в прямом противостоянии псевдоциклическому ритму потребляемых субпродуктов этого времени. Это индивидуальное проживание повседневной жизни в условиях разделения остается без языка, без понятия, без критического подхода к собственному прошлому, которое нигде не упоминается. Оно не сообщается. Оно остается непонятым и забытым к выгоде ложной зрелищной памяти того, чего нельзя вспомнить.

158

Спектакль как современная социальная организация парализует историю и память, отказа от истории, утверждающегося на основании исторического времени, есть *ложное сознание времени*.

159

Предварительным условием для сведения трудящихся к положению "свободных" производителей и потребителей товарного времени являлась *насильственная экспроприация их времени*. Зрелищный возврат времени стал возможен, только исходя из этой первичной экспроприации производителя.

160

Несводимо биологическая часть, все еще присутствующая в труде, как в естественной циклической зависимости между сном и бодрствованием, так и в очевидности индивидуального необратимого времени истощения жизни, просто оказывается *второстепенной* по отношению к современному производству, и как таковые эти элементы не принимаются в расчет в официальных прокламациях развития

производства, а являются потребляемыми им трофеями – доступным воплощением этой непрерывной победы. Обездвиженное в фальсифицированном центре движения своего мира, зрительское сознание уже не знает в своей жизни перехода ни к самореализации, ни к собственной смерти. Отказавшийся растративать свою жизнь больше не в праве признавать свою смерть. Реклама страхования жизни внушает только то, что он виновен в том, что умер, не обеспечив регулирования системы после этой экономической утраты, а реклама *american way of death* настаивает на способности поддерживать в этих обстоятельствах львиную долю *минимостей* жизни. На всем остальном фронте рекламных бомбардировок категорически запрещено стареть. Как если бы дело заключалось в том, чтобы обеспечить каждому некий “капитал-юность”, который, будучи лишь посредственно используемым, не мог бы, однако, претендовать на достижение долговременной и накапливающейся действительности финансового капитала. Это социальное отсутствие смерти тождественно социальному отсутствию жизни.

161

Время, как показывал Гегель, является *необходимым* отчуждением, средой, в которой субъект осуществляет себя, себя утрачивая, становится другим, чтобы стать истиной самого себя. Но его противоположностью как раз является господствующее отчуждение, которое претерпевается производителем *чуждого настоящего*. В этом *пространственном отчуждении* общество, коренным образом разделяющее субъект от деятельности, которую оно у него похищает, отделяет его прежде всего от его собственного времени. Преодолимым социальным отчуждением можно как раз назвать то отчуждение, которое запретило и парализовало возможности и риски отчуждения, *живущего* во времени.

162

Под мнимыми *модами*, что уничтожаются и заново соединяются на ускользающей поверхности созерцаемого псевдоциклического времени, всегда существует *большой стиль* эпохи, ориентированный очевидной и тайной необходимостью революции.

163

Естественное основание времени, ощущаемая данность его протекания, становится человеческим и общественным, существуя *для человека*. Именно подобное ограниченное состояние человеческой практики, труд на различных стадиях, до сих пор очеловечивало, а также

обесчеловечивало как циклическое, так и необратимое время разделения в экономическом производстве. Революционный проект бесклассового общества, возведенный в принцип исторической жизни, является проектом отмирания социальной меры времени в пользу игровой модели необратимого времени индивидов и групп, модели, в которой одновременно присутствуют *заклучившие союз независимые времена*. Это – программа полного осуществления в сфере времени коммунизма, который упраздняет «все то, что существует независимо от индивидов».

164

Миром уже владеет мечта о времени, сознанием которого он должен сейчас обладать, чтобы прожить его действительно.

## ГЛАВА 7

### ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

И тот, кто станет властелином города, издавна привыкшего жить свободно, и пощадит его, пусть от города не ждет пощады, потому что там всегда сыщется повод для мятежей во имя свободы и своих старых порядков, которые ни за давностью времени, ни за какие благодеяния не забудутся никогда. Что для них ни делай, и как ни старайся, но если не изгнать и не рассеять его жителей, они ни за что не забудут ни это имя, ни эти обычаи...

*Макиавелли. Государь.*

165

Капиталистическое производство унифицировало пространство, которое уже не ограничивается внешними ему обществами. Эта унификация в то же время является экстенсивным и интенсивным процессом усредняющего *обезличивания*. Аналогично тому, как накоплению серийно производимых товаров для абстрактного рыночного пространства суждено было разрушить все региональные и легальные барьеры и все корпоративные ограничения средневековья, которые поддерживали *качество* ремесленного производства, ему предстояло также размыть автономию и качество мест обитаний. Эта сила гомогенизации и была той тяжелой артиллерией, которая повалила все Китайские стены.

166

Отныне именно для того, чтобы все более отождествляться с самим собой, чтобы еще сильнее приближаться к неподвижному однообразию, каждое мгновение модифицируется и реконструируется *свободное пространство товара*.

167

Общество, которое упраздняет географическое расстояние, накапливает дистанцию внутренне, в качестве зрелищного разделения.

168

Субпродукт кругооборота товаров, человеческое круговращение, рассматриваемое как потребление, туризм, — сводится в своей основе к единственному развлечению: поехать и посмотреть то, что уже стало банальным. Само экономическое обустройство посещения различных мест тем самым уже есть обеспечение их *эквивалентности*. Та

же самая модернизация, что изъела из путешествия время. отняла у него и реальность пространства.

169

Общество, которое моделирует все свое окружение, выработало особую технологию, чтобы выстроить конкретную базу для этой совокупности задач – саму свою территорию. Урбанизм и является таким изъятием капитализмом себе в собственность человеческой и природной среды; и сам капитализм, логически развиваясь к своему абсолютному господству, теперь может и должен перестраивать всю тотальность пространства как *собственную декорацию*.

170

Капиталистическая необходимость, удовлетворяемая урбанизмом как видимом оледенении жизни, может выражаться – говоря языком Гегеля – как абсолютное преобладание «безмятежного пространственного существования» над «беспокойным становлением во временной последовательности».

171

Если все технологические силы капиталистической экономики должны приниматься как осуществляющие различные виды разделения, то в случае урбанизма мы имеем дело с обеспечением их общего основания, с возделыванием почвы, которая будет подходящей для их развития, с самой технологией *разделения*.

172

Урбанизм – это современное решение непрерывной задачи сохранения классовой власти, а именно – поддержание атомизации трудящихся, которых городские условия производства столь угрожающим образом *собрали воедино*. Постоянная борьба, каковую приходилось вести против всех аспектов этой возможности встречи, нашла в градостроительстве привилегированное поле собственного приложения. Усилия всех установившихся типов власти, начиная с экспериментов французской Революции, направленные на увеличение средств поддержания уличного порядка, достигают своего завершения в полном подавлении улицы. «С возникновением средств массовой коммуникации с большим радиусом действия изоляция населения оказалась намного более действенным средством контроля», – констатирует Льюис Мамфорд в книге *Город в истории*, описывая «отныне однонаправленный мир». Но общее развитие изоляции, представляющее собой реальность урбанизма, должно также содержать в себе конт-

ролируемую реинтеграцию трудящихся в соответствии с планируемыми необходимостями производства и потребления. Интеграция в систему вновь должна захватывать изолированных индивидов в качестве индивидов, *изолируемых совместно*, – и потому заводы, как и учреждения культуры и отдыха, как и “жилые массивы”, оказываются специально организованными с целью этой псевдоколлективности, также сопровождающей изолированного индивида и в *семейной ячейке*, – повсеместное использование приемников зрелищных передач способствует тому, что его одиночество оказывается наводненным господствующими образами, образами, только посредством подобной изоляции достигающими своего полного могущества.

173

Впервые новая архитектура, которой во все предшествующие эпохи отводилась единственная роль – удовлетворять запросы господствующих классов, оказалась предназначенной непосредственно *для бедных*. Формальная бедность и гигантское распространение этого нового опыта расселения целиком и полностью вытекают из его *массового* характера, который предполагает одновременно и его назначение, и современные условия строительства. *Авторитарное решение*, которое абстрактно обустроивает территорию в территорию абстракции, очевидно, присутствует в самом средоточии этих современных условий строительства. Одна и та же архитектура возникает повсюду, как только начинается индустриализация стран, в этом отношении отсталых, – обстановка, соответствующая полностью тому новому виду социального существования, который необходимо здесь привить. Столь же явственно, как и в вопросах термоядерного вооружения или рождаемости (в последней – вплоть до возможности манипуляций с наследственностью), в урбанизме демонстрируется и то, что уже преодолен порог усиления материальной власти над обществом, и то, что сознательное господство над этой властью приходит со значительным *запозданием*.

174

Настоящее время – это уже эпоха саморазрушения городской среды. Наступление городов на сельскую местность, покрытую «бесформенными массами городских отходов» (Льюис Мамфорд), непосредственным образом задается императивами потребления. Диктатура автомобиля – ведущего продукта первой фазы товарного изобилия, вписывается в территории через господство автострады, которая расчленяет старые центры и задает новое, все дальше и дальше продвигаю-

шееся рассеяние. При этом моменты незавершенной перестройки городской текстуры временно поляризуются вокруг “раздаточных предприятий”, т. е. построенных на пустырях и привязанных к *парковочным стоянкам* гигантских *супермаркетов*; а сами эти храмы ускоренного потребления разбегаются в центробежном движении, проталкивая их еще дальше, по мере того как, в свою очередь, они становятся вторичными центрами, перегруженными уже только потому, что повлекли за собой частичную перепланировку агломерации. Но таким образом техническая организация потребления существует лишь на переднем плане того общего разложения, которое приводит город к *потреблению самого себя*.

175

Экономическая история, в целом развивавшаяся вокруг противоположности города и деревни, достигла той победной стадии, на которой аннулируются сразу оба термина. Современный *паралич* тотального исторического развития, имеющего целью лишь продолжение независимого движения экономики в период, когда начинают исчезать и город, и деревня, приводит не к *преодолению* разрыва между ними, но к их одновременному разрушению. Взаимный износ и города, и деревни, происходящий от недостатка исторического движения, через которое существующая городская действительность должна была бы быть преодолена, проявляется в том эклектическом смешении их разрозненных элементов, которое покрыло наиболее развитые индустриальные зоны.

176

Всемирная история родилась в городах, а стала ведущей силой в эпоху решающей победы города над деревней. Маркс рассматривал как одну из важнейших революционных заслуг буржуазии то, что «она подчинила деревню городу», чей *воздух освобождает*. Но если история города и была историей свободы, то она также была и историей тирании, государственной администрации, управляющей и деревней, и самим городом. Город еще мог быть полем битвы за историческую свободу, но не владеть ею. Город – это *среда истории*, так как он одновременно является сосредоточением общественной власти, сделавшей возможным историческое предприятие, и осознанием прошлого. Следовательно, настоящая тенденция к ликвидации города только иным способом выражает подобное запаздывание подчинения экономики историческому сознанию, унификации общества, вновь овладевающего теми видами власти, которые из него выделились.



«В деревне наблюдается диаметрально противоположный факт – изолированность и разобщенность» (*Немецкая идеология*). Урбанизм, разрушающий города, восстанавливает некую псевдо-деревню, в которой утрачиваются естественные отношения старой деревни, равно как и непосредственные общественные связи, прямо поставленные под вопрос историческим городом. В новых условиях обитания и зрелищного контроля на современной «обустроенной территории» воссоздается новое искусственное крестьянство: распыленность в пространстве и ограниченный стиль мышления, которые всегда мешали крестьянству предпринимать независимые действия и утверждать себя в качестве творческой исторической силы, вновь становятся характерной чертой производителей, ибо развитие мира, производимого ими самими, также остается полностью за пределами их способностей понимания и действия, как это было при естественном ритме работ сельского общества. Но когда подобное крестьянство, некогда бывшее непоколебимой основой «восточного деспотизма», сама распыленность которого взывала к бюрократической централизации, восстанавливается сегодня как продукт условий усиления современной государственной бюрократизации, теперь его *апатию* приходится *исторически сфабриковать* и поддерживать, – естественное невежество уступает место организованному спектаклю намеренного заблуждения. «Новые города» технологического псевдокрестьянства четко вписываются в тот разрыв с историческим временем, на котором они воздвигаются, так что их девизом мог бы быть лозунг: «Вот здесь-то никогда ничего не произойдет и *никогда ничего не происходило*». Очевидно, по причине того, что история, которую нужно породить в городах, здесь еще не была рождена, силы *исторического отсутствия* начинают воздвигать свой собственный исключительный ландшафт.

История, которая угрожает этому сумеречному миру, также является и силой, которая может подчинить пространство проживаемому времени. Пролетарская революция есть та *критика человеческой географии*, через которую индивиды и сообщества должны создавать местности и события, соответствующие присвоению уже не просто их труда, но их истории в целом. В этом подвижном пространстве игры и вариаций свободно избираемых правил игры автономия места может вновь проявить себя, не без того, чтобы повлечь за собой исключительную привязанность к почве, и этим восстановить дей-

ствительность странствия и жизни, понимаемой как странствие, полностью несущее в себе весь свой смысл.

179

Величайшая революционная идея по отношению к градостроительству сама не является урбанистической, технологической или эстетической. Это решение интегрально реконструировать территорию сообразно потребностям власти Советов трудящихся, *антигосударственной диктатуры пролетариата*, диалога, подлежащего исполнению. И власть Советов, могущая стать действенной лишь через преобразование всей полноты существующих условий, не может ставить себе меньшей задачи, если она желает быть признанной и *познать саму себя* в собственном мире.

## ГЛАВА 8

### ОТРИЦАНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ В КУЛЬТУРЕ

Мы еще увидим политическую революцию? Мы, современники этих немцев? Мой друг, Вы верите в то, что Вы желаете... Тогда как я сужу о Германии по ее прошлой и современной истории. и Вы мне не станете возражать, что вся история ее искажена, что вся ее сегодняшняя общественная жизнь не представляет действительного состояния народа. Почитайте любые газеты. и Вы убедитесь, что мы не перестаем – причем. согласитесь, цензура никому не мешает остановиться в этом – прославлять свободу и национальное счастье, которыми мы обладаем...

*Руге – Марксу, март 1843 года*

180

Культура в историческом обществе, разделенном на классы, есть общая сфера познания, а также сфера представлений переживаемого; иными словами, она является той способностью обобщения, существующей *отдельно*, как разделение интеллектуального труда и интеллектуальный труд по разделению. Культура выделилась из единства общества мифа «тогда, когда мощь единения исчезает из жизни человека, а противоположности утрачивают свою живую связь и взаимодействие, обретая самостоятельность...» (*Различие систем Фихте и Шеллинга*). Добившись своей независимости, культура начинает империалистическое движение к обогащению, которое в то же время оказывается закатом ее независимости. История, создающая относительную автономию культуры и идеологические иллюзии насчет этой автономии, также выражает себя и как история культуры. А вся экспансионистская история культуры может быть понята как история обнаружения ее недостаточности и как движение к ее самоупразднению. Культура – это место поисков утраченного единства. В этом поиске единства культура как обособленная сфера обязана отрицать самое себя.

181

Борьба между традицией и обновлением – принцип внутреннего развития культуры исторических обществ – может продолжаться только через постоянные победы обновления. Тем не менее инновация в культуре проводится не чем иным, как всем историческим развитием в целом, которое, осознавая свою всеобщность, стремится превзойти собственные культурные предпосылки и движется к упразднению всякого разделения.

182

Стремительный подъем познаний об обществе, которые включают в себя постижение истории как средоточия культуры, приобретает в самом себе некое неопровержимое знание, проявляющееся в разрушении Бога. Но это “первое условие любой критики” есть также первое обязательство к бесконечной критике. Там, где никакое правило поведения уже не может поддерживаться, любое *достижение* культуры толкает ее к ее разложению. Как и философия, в то время, когда она получает свою полную автономию, всякая дисциплина, ставшая автономной, должна разрушаться прежде всего в качестве претензии на полное и последовательное объяснение всего общественного целого, а в конце концов и в качестве частного инструментария, используемого в ее собственных границах. *Нехватка рациональности* в культуре, основанной на разделении, является элементом, обрекающим ее на исчезновение, ибо в ней победа рационального уже присутствует как необходимая потребность.

183

Культура — это результат истории, которая разложила стиль жизни старого мира; но в качестве обособленной сферы она все еще остается лишь разумением и смысловой коммуникацией, остающимися частичными в обществе *частично историческом*. Она — смысл слишком далекого от осмысленности мира.

184

Конец истории культуры проявляется с двух противоположных сторон — в проекте ее преодоления как целостной истории и в организации ее сохранения в качестве мертвого объекта в зрелищном созерцании. Одно из этих направлений связало свою судьбу с социальной критикой, а другое — с защитой классовой власти.

185

Каждая из двух сторон завершения культуры каким-то единым образом существует как во всех аспектах познания, так и во всех аспектах чувственных представлений, — в том, чем было *искусство* в наиболее общем смысле. В первом случае накопление фрагментарных познаний, становящихся бесполезными, потому что *одобрение* существующих условий должно, в конце концов, *отречься от собственных познаний*, противопоставляется теории практики, единственно которая содержит в себе истину всех познаний, одна обладает секретом их использования. Во втором случае критическое саморазрушение прежнего *общего языка* общества противопоставляется его искусс-

венному переустройству в рыночном спектакле, в иллюзорном представлении непроживаемого.

186

Утрачивая общность мифического сообщества, общество должно терять все референции действительно общего языка до тех пор, пока расщепление бездеятельного сообщества не сможет быть преодолено обретением реальной исторической общности. Как только искусство, которое и было этим общим языком социального бездействия, вырастает в независимое искусство в современном смысле, возникая из своего первичного религиозного космоса и становясь продуктом обособленного индивидуального творчества, оно познает в качестве особого случая движения то движение, которое властвует над совокупной историей разделенной культуры. И ее независимое утверждение является началом его разложения.

187

Именно то, что утрачен язык коммуникации, *позитивно* выражает современное движение разложения всякого искусства, его формальное уничтожение. *Негативно* это движение выражает то обстоятельство, что вновь должен быть найден некий общий язык (но теперь не в одностороннем заключении, которое для искусства исторического общества *осуществлялось всегда слишком поздно*, говоря *другим* то, что переживалось без реального диалога, и принимая эту недостаточность жизни), но еще и то, что его следует найти в практике, которая объединяла бы в себе и непосредственную деятельность, и ее язык. Дело заключается в том, чтобы действительно обладать общностью диалога и игрой со временем, представленными в поэтиско-художественном произведении.

188

Когда ставшее независимым искусство представляет свой мир в ярких красках – это значит, что устарело некоторое мгновение жизни и его уже нельзя омолодить яркими цветами, но только вызывать в воспоминании. Величие искусства начинает проявляться лишь при полном упадке жизни.

189

Вторгшееся в искусство историческое время, прежде всего, с эпохи *барокко* выражается в самой сфере искусства. Барокко – это искусство мира, утратившего свой центр, ибо пал последний признаваемый средневековьем мифический порядок космоса и земного правления

– единство Христианского мира и призрак Империи. *Искусство времени* и должно нести в себе то эфемерное начало, которое оно открывает в мире. Оно выбрало, как говорит Эухенио д'Орс, “жизнь вместо вечности”. Театр и праздник, театральное празднество являются господствующими моментами барочной постановки, где любая особая художественная выразительность обретает свой смысл лишь в отношении к декорации созданного места действия, к конструкции, которой самой по себе предстоит стать центром воссоединения, и центр этот служит *переходом*, который вписывается как находящееся под угрозой равновесие в динамический беспорядок целого. Важность, порою чрезмерная, которую приобретает понятие барокко в современной эстетической дискуссии, выдает осознание невозможности художественного классицизма, ибо усилия, направленные на установление нормативного классицизма или неоклассицизма, в течение трех веков были лишь кратковременными надуманными конструкциями, говорящими внешним языком государства, языком абсолютной монархии или революционной буржуазии, облаченной в римские тоги. От романтизма к кубизму все более в конечном счете индивидуализирующееся искусство отрицания, постоянно возобновляющееся вплоть до окончательного раздробления и отрицания художественной сферы, следовало общему барочному движению. Исчезновение исторического искусства, связанного с внутренней коммуникацией элиты, которая имела свою полунезависимую социальную базу в тех частично игровых условиях, которые еще застали последние аристократии, выдает также то обстоятельство, что капитализм представляет собой первую классовую власть, которая признает себя лишенной всякого онтологического качества, а укоренение его власти в простом распоряжении экономикой равным образом влечет за собой утрату всякого человеческого *достоинства*. Барочный ансамбль, для художественного *творения* сам являющийся давно утраченным единством, вновь как бы воспроизводится в современном *потреблении* всего художественного прошлого. Историческое познание и признание всего искусства прошлого, ретроспективно воссоздаваемого в виде мирового искусства, релятивизируют его в некоем глобальном беспорядке, в свою очередь создающем барочное строение на более высоком уровне, – строение, в котором должны смешаться и само производство барочного искусства, и все его воскрешения. Искусства всех цивилизаций и эпох в первый раз могут быть поняты и приняты все вместе. Это “собираание воспоминаний” истории искусства, становясь возможным, также является

*концом мира искусства.* Именно в нашу эпоху музеев, когда никакая художественная коммуникация уже не может существовать, все старые моменты искусства могут быть приняты на равных правах, ибо никакой из них уже не пострадает от утраты особых условий сообщения, при современной утрате условий коммуникации *вообще*.

190

Искусство в эпоху распада в качестве негативного движения, стремящегося к преодолению искусства в историческом обществе, в котором история еще не была пережита, является сразу и искусством перемены и чистым выражением невозможности изменения. Чем грандиознее его требование, тем более его истинная реализация далека от него. Это искусство – *авангард* поневоле, и оно-то как раз *не является авангардом*. Его авангардизм – в его исчезновении.

191

Дадаизм и сюрреализм – два течения, отмечающие конец современного искусства. Они являются, хотя лишь относительно сознательным образом, современниками последнего великого натиска революционного пролетарского движения, и поражение этого движения, оставившее их заключенными внутри того самого художественного поля, дряхлость которого они провозглашали, стала основной причиной их застоя. Дадаизм и сюрреализм являются одновременно исторически связанными и противоположными. В этой противоположности, что также составляет для каждого самую последовательную и радикальную часть его вклада, проявляется внутренняя недостаточность их критики, развиваемой как одним, так и другим с одной-единственной стороны. Дадаизм стремился упразднить *искусство, не воплощая его*, а сюрреализм хотел *воплотить искусство, не упраздняя его*. Критическая позиция, выработанная с этих пор *ситуационистами*, показала, что и упразднение, и воплощение искусства являются двумя нераздельными аспектами одного и того же *преодоления искусства*.

192

Зрелищное потребление, которое сохраняет старую застывшую культуру, в том числе и подконтрольное повторение ее негативных проявлений, открыто становится в своем культурном секторе тем, чем оно имплицитно является в своей всеобщности – *коммуникацией не поддающегося сообщению*. Предельная деструкция языка может оказаться пошло признаваемой в нем как официальная позитивная ценность, ибо речь идет об афишировании примирения с господствующим по-

ложением вещей, когда всякая коммуникация радостно провозглашается отсутствующей. Критическая истина этой деструкции, как действительная жизнь современной поэзии и искусства, явно оказывается скрытой, ибо спектакль, который имеет своей функцией *заставить забыть историю в культуре*, в псевдоновизне своих модернистских средств применяет ту же стратегию, что в глубине конституирует его самого. Таким образом, может выдавать себя за нечто новое некая школа неолитературы, просто признающаяся, что написанное важно для нее само по себе. Кроме того, наряду с простым провозглашением самодостаточной красоты разрушения сообщаемого, самое современное течение зрелищной культуры (и наиболее связанное с репрессивной практикой общей организации общества) стремится посредством “комплексных произведений” перекомпоновать сложную неохудожественную среду, отправляясь от разрозненных элементов, и в особенности в попытках интеграции в урбанизме художественных остатков или эстетико-технологических гибридов. И это есть перевод в план зрелищной псевдокультуры общего проекта развитого капитализма, который нацелен на то, чтобы вновь захватить частного труженика как “личность, полностью интегрированную в коллектив”, – тенденция, описанная современными американскими социологами (Рисмэном, Уайтом и др.). И повсюду – это один и тот же проект *реструктуризации без сообщества*.

193

Культура, ставшая всецело товарной, также должна стать ведущим товаром зрелищного общества. Кларк Керр, один из самых радикальных идеологов этого течения, подсчитал, что сложный процесс производства, распределения и потребления *знаний* уже захватывает ежегодно 29% национального продукта Соединенных Штатов, и предсказывает, что во второй половине столетия культура должна занять роль двигателя в развитии экономики, каковой была роль автомобиля в его первой половине и железных дорог во второй половине века предыдущего.

194

Система знаний, теперь продолжающая развиваться как *мышление спектакля*, должна оправдывать общество без оправданий и конституироваться в общую науку ложного сознания. Она целиком обусловлена тем, что не может и не хочет мыслить собственное материальное основание в зрелищной системе.



195

Мышление социальной организации кажимости само затемняется той возведенной в принцип *подкоммуникацией*, которую оно защищает. Оно не ведает, что конфликт и есть исток всех вещей его мира. Профессионалы власти спектакля – абсолютной власти внутри его системы безответного языка, — абсолютно развращены своим опытом презрения и успехом этого презрения – ведь они находят подтверждение своему презрению в познании *презренного человека*, каковым в действительности зритель и является.

196

В специализированном мышлении зрелищной системы производится новое разделение задач по мере того, как совершенствование этой системы ставит новые проблемы: с одной стороны, *показная критика спектакля* предпринимается современной социологией, которая изучает разделение только с помощью концептуальных и материальных инструментов этого разделения, а с другой, *апология спектакля* конституируется в мышление не-мысли, в *патентованное забвение* исторической практики, в те самые разные дисциплины, где укореняется структурализм. И все же ложная безнадежность недиалектической критики и ложный оптимизм откровенной рекламы системы тождественны, будучи подчиненной мыслью.

197

Социология, которая, прежде всего, в Соединенных Штатах, начала выносить на обсуждение условия существования, возникшие на современной стадии развития общества, если даже и смогла собрать массу эмпирических данных, никоим образом не поняла истины собственного предмета, так как не может найти в самой себе имманентной ей критики. И выходит, что откровенно реформистская тенденция этой социологии опирается только на мораль, здравый смысл, совершенно беспомощные призывы к мере и т. д. Из-за того, что такая манера критиковать не признает то негативное, которое находится в сердцевине ее мира, она только и делает, что настаивает на описании своего рода негативного излишества, которое, на ее взгляд, досадно обременяет поверхность этого мира как паразитический иррациональный нарост. Возмущенная добрая воля, которая даже в качестве таковой доходит только до осуждения внешних последствий системы, считает себя критикой, забывая о сущностно *апологетическом* характере своих предпосылок и собственного метода.

198

Обличители абсурдности или гибельных последствий стимуляции расточительства в обществе экономической избыточности не ведают того, чему служит расточительство. Во имя экономической рациональности они, проявляя неблагодарность, проклинают тех самых иррациональных добрых ангелов-хранителей, без которых рухнула бы власть этой экономической рациональности. Так, например, Бурстин, описывающий в *L'Image* товарное потребление американского спектакля, так и не доходит до понятия “спектакля”, потому что полагает, что может оставить вне пределов этого губительного преувеличения частную жизнь или же понятие “честного товара”. Он не понимает, что сам товар создал законы, “честное” применение которых задает как особую реальность частной жизни, так и ее последующий захват общественным потреблением образов.

199

Бурстин описывает крайности мира, ставшего нам чуждым, как крайности, чуждые нашему миру. Но “нормальные” основы социальной жизни, на которые он имплицитно ссылается, когда качественно определяет поверхностное царство образов в терминах психологического и морального суждения в качестве продукта “наших чрезмерных претензий”, не соответствуют никакой действительности ни в его книге, ни в его эпохе. Именно потому, что действительная человеческая жизнь, о которой говорит Бурстин, существует для него в прошлом, которому принадлежит и прошлое религиозной покорности, он не может понять всю глубину общества имиджа. *Истина* этого общества – не что иное, как *отрицание* этого общества.

200

Социология, которая полагает, будто может выделить из системы общественной жизни некую промышленную рациональность, функционирующую отдельно, может дойти до того, что выделит из глобального индустриального развития технологии воспроизводства и передачи. Именно так Бурстин обнаруживает в качестве причины результаты, изображаемые им как несчастные, как бы нечаянные, обстоятельства функционирования слишком большого технологического аппарата распространения образов и чересчур сильного влечения людей нашей эпохи к псевдо-сенсационному. А следовательно, спектакль своим существованием якобы обязан тому, что современный человек слишком уж является зрителем. Бурстин не понимает, что размножение предварительно сфабрикованных “псевдособытий”,

которое он изобличает, просто вытекает из того, что люди в массовой реальности современной общественной жизни сами событий не проживают. Именно потому, что история сама навешает современное общество как призрак, на всех уровнях потребления жизни обнаруживают псевдоисторию, сконструированную, чтобы сохранить шаткое равновесие современного *застывшего времени*.

201

Утверждение окончательной стабильности краткого периода застывания исторического времени является сознательно и бессознательно провозглашаемой бесспорной основой современной тенденции к *структуралистской* систематизации. Точка зрения, в которой размещается антиисторическое мышление структурализма, является точкой вечного присутствия некой системы, что никогда не была создана и никогда не придет к концу. Мечта о диктатуре предзаданной и бессознательной структуры над всей социальной практикой может быть неправомерно извлечена из структурных моделей, разработанных лингвистикой и этнологией (включая анализ функционирования капитализма), – моделей, *в этих обстоятельствах уже понимаемых превратно*, просто потому, что университетское мышление скоро удовлетворяемого *среднего кадрового состава*, мышление, всецело погруженное в восхищенное восхваление существующей системы, пошло подгоняет всякую действительность к существованию системы.

202

Как и во всякой исторической общественной науке, для понимания “структуралистских” категорий всегда нужно иметь в виду, что категории выражают формы и условия существования. Подобно тому, как о качествах человека не судят по представлению, которое он имеет о себе самом, нельзя оценивать (и восхищаться) это предопределенное общество, принимая как безусловную истину язык, коим оно говорит о себе самом. «Нельзя оценивать такого рода эпохи перемен исходя из их сознания о себе, но, наоборот, необходимо объяснять сознание через противоречия материальной жизни...» Структура – дочь наличествующей власти. Структурализм есть *мышление, обеспеченное государством*, которое мыслит настоящие условия зрелищной “коммуникации” в качестве абсолюта. Его манера изолированного изучения кода сообщений является лишь продуктом и признаком общества, где сообщение осуществляется в форме каскада иерархических сигналов. Так что не структурализм служит подтвер-

ждению надысторической действительности общества спектакля, а, наоборот, общество спектакля, навязывающееся как массовая действительность, служит подтверждению холодных грез структурализма.

203

Несомненно, критическое понятие *спектакля* также может быть вульгаризировано в какой-нибудь надуманной формуле социологической и политической риторики, которая бы абстрактно объясняла и разоблачала все, что угодно, и таким образом служила защите зрелищной системы. Ибо очевидно, что никакая идея не может вывести за пределы существующего спектакля, но только за пределы существующих о спектакле идей. Чтобы действительно разрушить общество спектакля, необходимы люди, которые бы задействовали какую-то практическую силу. Критическая теория спектакля является истинной, лишь объединяясь с практическим движением отрицания в обществе, а это отрицание – возобновление борьбы революционного класса – осознает само себя, развивая критику спектакля, которая является теорией его действительных условий, практических условий современного подавления, и далее раскрывает тайну того, чем она может быть. Эта теория не ожидает чудес от рабочего класса. Она предвидит в новом формировании и осуществлении пролетарских требований долгосрочную задачу. При искусственном различении борьбы теоретической и борьбы практической – ибо, исходя из выше определенных оснований, само создание и сообщение такой теории уже не может осуществляться без *строгой практики* – несомненно, что смутно и трудно продвигающаяся критическая теория также должна стать уделом практического движения, действующего на уровне общества.

204

Критическая теория должна *сообщаться* на собственном языке. Это язык противоречия, и он должен быть диалектическим по своей форме, каким он является в своем содержании. Он является и критикой целого и исторической критикой. Это не “нулевая степень письма”, но его оборачивание. Это не отрицание стиля, но стиль отрицания.

205

В самом своем стиле изложение диалектической теории есть скандал и безобразие с точки зрения правил господствующего языка и вкуса, воспитанного этими правилами, так как в позитивное употребление существующих понятий оно одновременно включает по-

нимание их вновь обретенной *текучести* и их необходимого разложения.

206

Этот стиль, который содержит собственную критику, должен выражать господство современной критики над *всем ее прошлым*. Благодаря ему способ изложения диалектической теории свидетельствует о негативном духе, который в ней присутствует. «Истина не является подобной продукту, на котором уже не найти следа орудия». (Гегель). Это теоретическое сознание движения, в котором должен присутствовать сам след движения, проявляется через *обращение* установленных отношений между понятиями и через *отстранение* от всех обретенных предшествующей критики. Обращение генетива есть то выражение исторических революций, отчеканенное в форме мысли, которое рассматривалось как эпиграмматический стиль Гегеля. Молодой Маркс, будучи верным систематическому использованию этого стиля Фейербахом, превозносящий замещение субъекта предикатом, добился наиболее последовательного употребления этого *мятежного стиля*, из философии нищеты извлекающего нищету философии. Отстранение же приводит к подрыву прошлых критических выводов, застывших в почтенных истинах, то есть превратившихся в ложь. Уже Кьеркегор его сознательно использовал, присоединяясь сам к их разоблачению: «Но несмотря на все подвохи и уловки, подобно тому, как варенье вновь отправляется в кладовую, так и ты всегда заканчиваешь тем, что вставляешь какое-нибудь тебе не принадлежащее словечко, тревожащее воспоминанием, которое оно пробуждает» (*Философские крохи*). Именно обязательность *дистанцирования* по отношению к тому, что было фальсифицировано в официальной истине, таким образом, определяет такое употребление отстранения, признаваемое Кьеркегором в той же книге: «Еще одно замечание по поводу твоих многочисленных намеков с целью поставить мне в вину то, что я смешиваю в своих заявлениях заимствованные положения. Я этого здесь не отрицаю и не буду также скрывать, что это было сделано преднамеренно, но уже в продолжении этой книжонки, коли я его когда-нибудь напишу, я намерен называть предмет его настоящим именем и облачать проблему в исторические одежды».

207

Идеи совершенствуются. Соучаствует в этом и смысл слов. Плагиат необходим. Его предполагает прогресс. Он точно держится фразы автора, пользуется его выражениями, удаляет ложную идею и заменяет ее идеей верной.

Отстранение – это противоположность цитированию, теоретическому авторитету, всегда уже фальсифицированному просто тем, что он уже стал цитатой, фрагментом, вырванным из контекста, из движения и, наконец, из эпохи как общего поля референции и из конкретного выбора, которым была эта цитата внутри соответствующей референции, признанной за правильную, или за ошибочную. Отстранение – это текучий язык антиидеологии. Оно появляется в коммуникации, которой ведомо, что она не может претендовать на поддержание какой-либо окончательной гарантии в самой себе. В своей высшей точке оно является языком, который не может подтвердить никакая предшествовавшая сверхкритическая референция. Наоборот, именно его собственная последовательность, по отношению к себе и при помощи доступных ему фактов, может подтвердить старое существо истины, к которому оно сводится. Отстранение в качестве актуальной критической инстанции не обосновывает своей причины ни на чем внешнем по отношению к его собственной истине.

То, что в теоретической формулировке открыто представляется как *отстраненное*, чем опровергается любая длительная автономия сферы выраженного теоретически, а именно введением в нее *посредством такого насилия* действия, нарушающего и преодолевающего любой существующий порядок, – напоминает, что это существование теоретического само по себе ничто и должно познаваться лишь совместно с историческим действием и *исторической правкой*, в которой заключается ее истинная верность.

Только действительное отрицание культуры и сохраняет ее смысл. Более оно не может быть *культурным*. Таким образом, оно есть то, что в некотором роде остается на уровне культуры, хотя и в совершенно ином значении.

В языке противоречия критика культуры представляется *воссоединенной*, поскольку она господствует над всей культурой (как ее познанием, так и ее поэзией) и поскольку она уже не отделяется от критики общественного целого. Только такая *воссоединенная теоретическая критика* идет навстречу *воссоединенной общественной практике*.

## ГЛАВА 9

### МАТЕРИАЛИЗОВАННАЯ ИДЕОЛОГИЯ

Самосознание есть в себе и для себя потому и благодаря тому, что оно есть в себе и для себя для некоторого другого самосознания, то есть оно есть только как нечто признанное.

Гегель. *Феноменология духа*.

212

Идеология есть *основа* мышления классового общества в конфликтном движении истории. Идеологические факты всегда были не простыми химерами, но деформированным сознанием различных реалий, а в качестве таковых – реальными факторами, осуществляющими, в свою очередь, некое действительное деформирующее воздействие; с тем большим основанием *материализация* идеологии, в форме спектакля влекущая за собой воплощенный конкретный результат автономизированного экономического производства, практически сливается с общественной действительностью идеологии, которая все действительное смогла перекроить по собственной модели.

213

Когда идеология, являющаяся *абстрактной* волей к универсальному и ее иллюзией, оказывается узаконенной универсальной абстракцией и действенной диктатурой иллюзии в современном обществе, она больше не является волюнтаристской борьбой разделенного на части, но его триумфом. Отсюда идеологическая претензия обеспечить своего рода пошлую позитивистскую точность: дескать, теперь она представляет собой не исторический выбор, но некую очевидность. В таком утверждении рассеиваются частные *имена* идеологии. А само участие собственно идеологического труда в обслуживании системы понимается теперь лишь в качестве признания “эпистемологического пласта”, притязающего на потусторонность по отношению к любому идеологическому феномену. Материализованная идеология сама безымянна, равно как и лишена выраженной исторической программы. А это значит, что история *идеологий* закончена.

214

Идеология, которую вся ее внутренняя логика вела к “тотальной идеологии” в смысле Мангейма, к деспотизму фрагмента, навязывающего себя в качестве псевдознания застывшего *целого*, как *тоталитарное* видение, – свершается теперь в неподвижном спектакле не-

истории. Его свершение есть также ее разложение в системе общества. С *практическим разложением* этого общества должна исчезнуть и идеология, *последняя неразумность*, перекрывающая доступ к исторической жизни.

215

Спектакль – это идеология *par excellence*, так как он выражает и проявляет в своей полноте сущность любой идеологической системы: обеднение, подчинение и отрицание действительной жизни. Материально спектакль является «выражением разделения и отчуждения между человеком и человеком». «Обман, возведенный в новую *степень*», в нем сосредоточенный, имеет свою основу на том производстве, посредством коего «с массой предметов растет ... новая область чуждых сущностей, которым подчиняется человек». Это высшая стадия той экспансии, что обращает потребность против жизни. «Потребность в деньгах есть, следовательно, подлинная потребность, производимая политической экономией, причем единственная потребность, какую она производит» (*Экономико-политические рукописи*). Спектакль распространяет на всю общественную жизнь принцип, который Гегель в «Йенской реальной философии» понимал как принцип денег, это – «в себе движущаяся жизнь мертвого».

216

В противоположность проекту, подытоженному в «Тезисах о Фейербахе» (реализация философии в практике, которая преодолевала бы противоположность идеализма и материализма), спектакль в псевдоконкретности его вселенной сохраняет и навязывает идеологические черты одновременно материализма и идеализма. Созерцательная сторона старого материализма, постигающего мир как представление, а не как деятельность (и в конечном счете идеализирующего материю), достигла своей полноты в спектакле, где конкретные вещи автоматически оказываются хозяевами общественной жизни. С другой стороны, *мечтательная активность* идеализма также находит завершение в спектакле – через техническое опосредование знаков и сигналов, которые, в конечном счете, материализуют абстрактный идеал.

217

В этом экономическом процессе материализации идеологии следует выделить установленный Габелем (*Ложное сознание*) параллелизм между идеологией и шизофренией. Общество стало тем, чем уже была идеология. Исключение из практической деятельности и сопутству-



ющее антидиалектическое ложное сознание — вот то, что ежедневно навязывается повседневной жизни, подчиненной спектаклю, что нужно понимать как систематическую организацию “ослабления способности к встрече” и как ее замещение галлюцинаторным общественным порядком: ложное сознание встречи, “иллюзия встречи”. В обществе, где уже никто не может быть *признан* другими, каждый индивид становится неспособным признать и свою собственную реальность. Теперь идеология у себя дома, разделение построило собственный мир.

218

«В клинических картинах шизофрении, — говорит Габель, — упадок диалектики целостности (и в конце концов ее разложение) и упадок диалектики становления (с кататонией как крайней формой его проявления) вполне соответствуют друг другу». Зрительское сознание — узник уплощенной вселенной, ограниченной *экраном* спектакля, за который была вынесена его собственная жизнь, теперь знает только *фиктивных собеседников*, которые рассказывают ему исключительно о своем товаре и о политике их товара. На всем своем протяжении спектакль является его “зеркальным знаком”. В нем инсценируется ложный выход из возведенного в принцип аутизма.

219

Спектакль, т. е. стирание границ между “я” и миром, посредством деформации “я”, одолеваемого присутствием-отсутствием мира, равным образом, есть стирание границ между истинным и ложным ввиду вытеснения всякой переживаемой истинности под *реальным присутствием* ложности, которую обеспечивает организация мнимости. Тот, кто изо дня в день пассивно подчиняется участи отчуждаемого, тем самым доводится до безумия, которое иллюзорно реагирует на эту участь, прибегая к магическим техникам. Признание и потребление товаров находятся в самом центре этого псевдоответа на безответное сообщение. Потребность в подражании, испытываемая потребителем, является инфантильной потребностью, как раз и обусловленной всеми аспектами его фундаментальной экспроприации. Согласно терминам, которые Габель употребляет применительно к совершенно иному уровню патологии, “аномальная потребность выставления себя напоказ компенсирует здесь мучительное чувство — существования на обочине жизни”.

И если логика ложного сознания не может правдиво познать саму себя, то поиски критической истины о спектакле должны стать истинной критикой. Она должна вести практическую борьбу с непримиримыми врагами спектакля и соглашаться быть отсутствующей там, где отсутствуют они. Как раз законы господствующего мышления, исключительную точку зрения *актуальности*, и признает абстрактная воля к непосредственной действительности, когда она бросается в компромиссы реформизма или в общее дело псевдореволюционных недобитков. Этим бред воспроизводится в той самой позиции, которая претендует на то, чтобы его побороть. Наоборот, критика, выходящая по ту сторону спектакля, должна *уметь ждать*.

Избавиться от материальных оснований обращенной истины – вот в чем состоит самоосвобождение нашей эпохи. Эту “историческую миссию восстановления истины в мире” не могут выполнить ни изолированный индивид, ни подверженная манипуляциям атомизированная толпа, но единственно класс, способный стать разрушителем всех классов, приводя всякую власть к не-отчуждающей форме осуществленной демократии, к Совету, в котором практическая теория контролирует сама себя и видит собственное действие. Только в нем индивиды “непосредственно связаны со всеобщей историей”, только в нем диалог вооружает себя для того, чтобы преодолеть собственную ограниченность.

*Комментарии*  
к  
«Обществу спектакля»

Памяти Жерара Лебовичи, убитого  
5 марта 1984 года в результате заговора,  
оставшегося нераскрытым.

Насколько бы критическим ни могло оказаться положение и обстоятельства, в которых вы очутились, никогда не отчаивайтесь, ведь как раз в том случае, когда нужно опасаться всего, — ничего не надо бояться: как раз тогда, когда вы окружены всеми видами опасностей, не стоит страшиться ни одной из них: как раз тогда, когда вы оказались безо всяких средств, необходимо рассчитывать на все средства; и как раз тогда, когда вас застали врасплох, необходимо привести в замешательство самого врага.»

*Сюнь Цзы. Искусство войны*

# I

Наверняка, эти «Комментарии» очень скоро станут известными среди пятидесяти-шестидесяти человек. Иными словами, многовато для наших дней, когда заходит речь о столь серьезных вопросах. Впрочем, это связано еще с тем, что в определенных кругах у меня сложилась репутация знатока. Но также следует учесть, что в числе тех избранных, которые ими заинтересуются, половину, или почти половину, будут составлять люди, чьи старания направлены на поддержание системы зрелищного господства, а другую половину — люди, упорно стремящиеся делать совершенно противоположное. Так что приходится принимать в расчет очень внимательных и по-разному влиятельных читателей, в связи с чем, очевидно, я не могу изъясняться совершенно свободно. Особенно же я должен опасаться того, чтобы не переусердствовать в наставлениях не бог весть кого.

Итак, трудности данного времени вновь вынуждают меня писать в какой-то новой манере. Так что определенные элементы будут сознательно пропущены, и общему плану придется оставаться достаточно непросматривающимся. В нем можно встретить как отличительный знак эпохи несколько ловушек. Хотя, если в том или ином месте добавить несколько страниц, смысл бы проявился полностью: так, очень часто к тому, что открыто оговаривается в договорах, добавляются некоторые секретные статьи или же сходное имеет место в тех случаях, когда некоторые химические реактивы обнаруживают свои ранее неизвестные свойства только в сочетании с другими. Впрочем, в этой краткой работе, увы, окажется слишком мало вещей, легких для понимания.

В 1967 году в работе *Общество спектакля* я указал на то, чем по сути уже являлся современный спектакль – неограниченным правлением рыночной экономики, достигшим статуса никому не подотчетного суверенитета, и системой новых технологий управления, сопутствующих такому правлению. Волнения 1968 года, продолжившиеся в разных странах и в последующие годы, нигде так и не смогли сломать существующую организацию общества, из которой как будто бы сам собой возникает спектакль, и потому он повсюду продолжал усиливаться, так сказать безмерно расширяясь во все стороны и одновременно наращивая свою плотность в центральной части. Он даже выучился новым приемам защиты, как это обычно случается с властью, которая подвергается нападению. Когда я только начинал критиковать общество спектакля, то ввиду переживаемого момента, главным образом и прежде всего, люди замечали революционное содержание, которое в этой критике можно было открыть, и вполне естественно воспринимали это как ее наиболее раздражающий элемент. Что же касается самого предмета, то иногда меня даже обвиняли в том, что я его, дескать, высосал из пальца и что будто бы мне всегда доставляло огромное удовольствие пускаться в преувеличения, оценивая глубину и единство этого спектакля, равно как и его реального воздействия. Я готов согласиться, что иные позднейшие авторы новых книг по этой же теме полностью доказали, что можно было вполне избежать столь многословного ее описания. Как если бы было вполне достаточно просто заменить целостную систему и ее развитие одной статичной деталью, наблюдаемой на поверхности явления, так что оригинальность каждого автора проявлялась бы только в выборе различных понравившихся ему и тем самым менее беспокоящих деталей. Никто ведь не хотел нарушать научную скромность своей личной интерпретации, внося в нее смелые исторические суждения.

Но, в конце концов, общество спектакля продолжало-таки развиваться. И это происходило достаточно быстро, ибо к 1967 году оно вряд ли насчитывало и сорок лет, использованных, однако, в полной мере. С тех пор его собственное развитие, изучить которое никто так больше и не удосужился, и его ошеломляющие достижения показали, что тогда мною была описана именно его действительная природа. Эта подтвердившаяся точка зрения обладала не только академической ценностью, потому что, безусловно, было необходимо признать единство и структуриацию той действующей силы, каковой является спектакль, чтобы, исходя из нее, обрести способность исследовать, в ка-

ких же направлениях эта сила может перемещаться, оставаясь тем, что она есть. Эти вопросы были очень важными, ибо касались как раз тех обстоятельств, в каких конфликт далее развивался внутри общества. А если сегодня спектакль, безусловно, добился большего могущества, чем прежде, то чему же служит теперь эта дополнительная мощь? Чего же он достиг такого, чего прежде достичь не мог? И где в данный момент, в общем и целом, проходят *линии его операций*? Ныне широко распространено то смутное ощущение, что речь идет о каком-то виде стремительного нашествия, которое вынуждает людей вести совершенно иную жизнь, хотя оно воспринимается скорее как необъяснимое изменение климата или нарушение какого-то иного естественного равновесия, как изменение, о котором наше неведение знает только то, что сказать ему о нем нечего. Более того, многие воспринимают это вторжение как цивилизующее и потому в конечном счете неизбежное и даже жаждут в нем соучаствовать. Ведь последние предпочитают не знать, чему же на самом деле служит это вторжение и каким образом оно осуществляется.

Я упомяну лишь о нескольких *практических следствиях*, пока еще малоизвестных, которые проистекают из столь быстрого распространения спектакля за последние двадцать лет. Я не намерен вступать ни в какие споры – ныне слишком легковесные и совершенно бесполезные – ни об одном из аспектов данной проблемы, а тем более кого-либо в чем-либо убеждать. Настоящие комментарии не собираются заниматься морализаторством. Они не нацелены ни на желаемое, ни на просто предпочитаемое. Они довольствуются тем, чтобы фиксировать то, что есть.

### III

Сегодня, когда никто из находящихся в здравом уме уже не может сомневаться в существовании и могуществе спектакля, можно, наоборот, вполне усомниться в том, разумно ли вообще что-либо добавлять к проблеме, которая столь драконовским способом была решена самим жизненным опытом. Газета “Монд” от 19 сентября 1987 года с благодушием проиллюстрировала то, что формула: «Если нечто существует, то говорить о нем больше нет никакой необходимости» – воистину основной закон эпохи спектакля, которая, по крайней мере в этом отношении, не допустила отставания ни одной страны: «Понятное дело, что современное общество является обществом спектакля. И вскоре нужно будет особо выделять тех, кто не обращает на себя внимания. Уже не счесть трудов, описывающих данный феномен и доходящих не только до характеристики промышленно разви-

тых государств, но и не оставляющих в стороне и страны, отставшие от своего времени. Но самое смешное, что книги, анализирующие этот феномен, как правило, чтобы выразить сожаление по его поводу, точно так же сами должны принести себя в жертву спектаклю, чтобы о себе заявить». Впрочем, правда в том, что эта запоздалая показная критика спектакля, в довершение ко всему жаждущая “заявить о себе”, в его же пространстве станет нарочито ограничиваться пустыми обобщениями или лицемерными сожалениями; равно как бессодержательным окажется и то внезапно протрезвевшее благоразумие, что паясничает на страницах газет.

Исчерпанность дискуссии о спектакле, то есть о том, что делают собственники мира, организуется, таким образом, *им самим*, ибо ее участники всегда сосредоточивают внимание на грандиозных средствах спектакля, для того чтобы ничего не сказать о его великой роли. Его даже часто предпочитают называть не спектаклем, а средствами массовой информации, тем самым желая его обозначить как простой инструмент, вид общественной службы, которая с непредвзятым “профессионализмом” будто бы управляет через *масс-медиа* новым наставшим для всех коммуникационным изобилием, сообщением, достигшим, наконец, однонаправленной чистоты, в которой спокойно позволяют восхищаться собой уже принятые решения. То же, что сообщается, – это *приказы*, и потому весьма гармонично, что те, кто их давал, являются также и теми, кто станет рассказывать, что же они о них думают.

Власть спектакля, которая самой силою вещей столь сущностно является единой, централизующей и абсолютно деспотичной по духу, достаточно часто возмущается, когда замечает, как под ее покровительством формируется некий спектакль-политика, спектакль-юстиция, спектакль-медицина или множество подобных непредвиденных “издержек *масс-медиа*”. И вот, таким образом, спектакль вроде бы оказывается не чем иным, как издержками *масс-медиа*, чья природа без возражений признается благой, поскольку они служат целям сообщения и только иногда доходят до крайностей. Достаточно часто хозяева общества заявляют, что их плохо обслуживают их собственные информационные служащие, но еще чаще они попрекают зрительский плебс за его склонность неудержимо и едва ли не по-скотски предаваться информационным удовольствиям. Так вот, за виртуально бесконечным множеством так называемых информационных различий стараются тщательно скрыть то, что, напротив, всецело является результатом зрелищной конвергенции, желаемой со столь



замечательным упорством. Подобно тому, как логика товара первенствует над различными конкурирующими амбициями всех коммерсантов, или аналогично тому, как логика войны всегда господствует над частыми видоизменениями вооружения, так же и строгая логика спектакля повсюду управляет разбухающим разнообразием нелепостей, передаваемых средствами массовой информации.

Но важнейшая перемена в происшедшем за последние двадцать лет заключается в самой непрерывности спектакля. Эта значимая перемена относится не к совершенствованию его информационного инструментария, что и прежде уже достиг очень высокой стадии развития, но просто заключается в том, что под владичеством спектакля смогло вырасти поколение, подвластное его законам. Совершенно новые условия, в которых действительно жили все представители этого поколения, составляют конкретное и достаточное резюме всему тому, чему отныне противодействует спектакль, а также и всему, что он допускает.

#### IV

В чисто теоретическом плане к уже прежде сформулированному мне необходимо было бы добавить только одну деталь, но с далеко идущими последствиями. В 1967 году я различал две последовательные и соперничающие формы власти спектакля: сосредоточенную и рассредоточенную. Обе они “витали” над реальным обществом и как его главная цель, и как его главная ложь. Первая, выдвигая на первый план идеологию, в сжатом виде представленную вокруг какой-нибудь авторитарной личности, сопутствовала как нацистской, так и сталинистской тоталитарной контрреволюции. Вторая, побуждая наемных рабочих свободно осуществлять выбор между огромным многообразием новых товаров, противостоявших друг другу, представляла собою ту американизацию мира, которая в некоторых своих аспектах отпугивала, но также и соблазняла те страны, где дольше всего сохранялись условия для буржуазных демократий традиционного типа. С тех пор посредством систематического сочетания двух предыдущих форм возникла третья, и появилась она на основе общей победы формы, оказавшейся сильнейшей, – формы рассредоточенной. Речь идет о *включенной театрализации*, которая с этих пор стремится навязать себя по всему миру.

Преобладающая роль, какую играли Россия и Германия в формировании сосредоточенной театрализации, и Соединенные Штаты в формировании театрализации рассредоточенной, в пору создания вклю-

ченной театрализации. по-видимому. принадлежала Франции и Италии благодаря действию целого ряда общих исторических факторов: важной роли сталинистской партии и сталинистских профсоюзов в политической и интеллектуальной жизни, слабости демократической традиции, продолжительной монополизации власти одной правительственной партией, необходимости покончить с неожиданно возникшим революционным возмущением.

Включенная театрализация проявляется одновременно и как сосредоточенная, и как рассредоточенная, и, исходя из подобного положения, такое плодотворное соединение может шире использовать выгоды как первой, так и второй формы. Прежний способ их применения сильно изменился. Если обратиться к стороне сосредоточенного показа во включенной театрализации, то ее направляющий центр теперь становится скрытым — теперь там никогда не располагается ни известный вождь, ни ясная идеология. А если обратиться к ее рассредоточенному аспекту, то никогда прежде воздействие спектакля до такой степени не накладывало отпечаток почти на все производимые обществом объекты и способы поведения. Ибо конечный смысл включенной театрализации состоит в том, что она включается в саму реальность по мере того, как о ней говорит, и в том, что она перестраивает ее, пока о ней говорит. Так что сегодня эта реальность не удерживается больше перед нею как нечто чуждое ей. Когда театрализация была сосредоточенной, то большая часть периферии общества от нее ускользала, а когда она была рассредоточенной, ускользала наиболее слабая его часть. Сегодня не ускользает ничто. Спектакль стал составной частью любой действительности, проникая в нее подобно радиоактивному излучению. Как можно было легко предвидеть в теории, безудержное исполнение прихотей коммерческого разума быстро и безо всяких исключений продемонстрировало, что становление мира фальсификации также было превращением мира в фальсификацию. За исключением некоторого наследия, пока остающегося значимым, но уже обреченного на непрерывное исчезновение и состоящего из книг или древних строений, которые, кроме того, оказываются все более отсортированными и включенными в перспективное планирование в соответствии с потребностями спектакля, ни в культуре, ни в природе больше не существует ничего, что бы не было трансформировано и загажено сообразно средствам и интересам современной индустрии. Даже генетика всецело стала подвластна господствующим в обществе силам.

Управление спектаклем, ныне сосредоточившее в себе все возможные средства для фальсификации как всей системы человеческого восприятия, так и всей системы общественного производства, оказалось абсолютным хозяином воспоминаний, равно как и бесконтрольным распорядителем всех проектов, формирующих самое отдаленное будущее. Оно одно царит повсюду и *приводит в исполнение собственные поверхностные суждения и приговоры*.

Именно в таких условиях можно наблюдать, как с карнавальная легкостью вдруг неистово проявляет себя пародийный конец разделения труда, пришедшийся тем более кстати, что он совпадает с общим движением к исчезновению всякой подлинной профессиональной компетентности. Финансист выходит петь, адвокат становится осведомителем полиции, булочник демонстрирует свои литературные предпочтения, актер правит, повар философствует о тонкостях стряпни как о вехах всемирной истории. Каждый из них может появиться в спектакле, чтобы публично, а иногда и тайно, предаться деятельности, совершенно иной, чем специальность, в которой он прежде смог заявить о себе. Там, где обладание «информационным статусом» – статусом популярности в средствах массовой информации – приобрело неизмеримо большую значимость, чем стоимость того, что кто-либо из них был способен создать реально, считается нормальным, что этот статус оказывается легко передаваемым и предоставляет право также блистать в любом другом месте. Чаще всего эти ускоренные информационные частицы продолжают свою нехитрую карьеру в сфере достойного восхищения, гарантированного им по статусу. Но случается, что такие переходы в средствах массовой информации обеспечивают *прикрытие* для многих официально независимых предприятий, но на самом деле тайно соединенных *ad hoc* через разнообразные связи. Так что время от времени и общественное разделение труда, подобно легко предполагаемой при его наличии круговой поруке, является нам снова в совершенно новых формах – например, сегодня вполне можно опубликовать роман для того, чтобы подготовить покушение. Эти забавные примеры означают еще и то, что сейчас уже никому нельзя доверять в отношении мастерства и профессии.

Но, кроме всего прочего, самое амбициозное стремление включенной театрализации состоит в том, чтобы тайные агенты стали революционерами, а революционеры превратились в тайных агентов.

Модернизированное общество, достигшее стадии включенной театрализации, характеризуется согласованным действием пяти основных черт, а именно: непрерывного технологического обновления, слияния экономики и государства, всеобщей секретности, безоговорочной лжи и вечного настоящего.

Движение технологического новаторства продолжается уже давно и является основной составляющей капиталистического общества, называемого иногда индустриальным или постиндустриальным. Но с тех пор, как сразу же после Второй мировой войны оно начало недавнее ускоренное развитие, оно еще больше усилило свое зрелищное воздействие ввиду того, что именно через это воздействие каждый его участник ощущает себя предоставленным воле специалистов, их расчетов и их же всегда удовлетворительных мнений о подобных расчетах. Слияние экономики и государства оказалось самой очевидной тенденцией этой эпохи, и оно по меньшей мере стало движущей силой ее недавнего экономического развития. Оборонительный и наступательный союз, заключенный между этими двумя силами – экономикой и государством, – обеспечил наибольшие обоюдные преимущества во всех областях, ибо теперь можно говорить о том, что каждая из них владеет другой, и было бы абсурдно противопоставлять их или различать их разумные или неразумные основания. Это единство также проявило себя как чрезвычайно благоприятное для развития господства спектакля, а тот с момента своего формирования на самом деле чем-то иным и не являлся. И последние три характерные черты являются непосредственными следствиями такого господства спектакля на стадии его интеграции.

Всеобщая секретность образует фон спектакля как решающее дополнение к тому, что в нем демонстрируется, а если заглянуть в суть вещей, то и как его самая важная процедура.

Одно то обстоятельство, что ложное отныне стало неоспоримым, придает ему совершенно новое качество. Ведь заодно и истинное почти повсюду прекращает свое существование или в лучшем случае оказывается сведенным к состоянию гипотезы, которую вообще невозможно доказать. Безоговорочная ложь кончила тем, что вынудила полностью исчезнуть общественное мнение, которое сначала оказывалось неспособным заставить к себе прислушаться, а в скором времени ему будет не по силам и просто сформироваться. Очевидно, что все это приводит к очень важным последствиям и в поли-

тике, и в прикладных науках, и в юриспруденции, и в художественном познании.

Созидание настоящего, когда сама мода, от швейного дела до певцов, оказывается обездвиженной, — времени, которое жаждет забыть о прошлом и уже не производит впечатления веры в будущее, достигается за счет непрерывного кругооборота информации, в каждое мгновение возвращающегося к очень краткому перечню одних и тех же мелочей, со страстью провозглашаемых как важные новости, тогда как по-настоящему важные известия о том, что что-то действительно изменилось, приходят теперь редко, и в виде резких толчков. И они, как правило, касаются приговора, что этот мир как будто объявил собственному существованию, и этапов его запрограммированного саморазрушения.

## VI

Первым намерением господства спектакля было вообще устранить историческое познание, и прежде всего почти все виды информации и разумные комментарии о самом недавнем прошлом. Столь явно бросающаяся в глаза очевидность не нуждается в объяснениях. Спектакль мастерски организует неведение относительно происходящего и затем — почти сразу же забвение того, что все-таки могло быть из этого понятым. Самое важное — это наиболее скрытое. Вот уже двадцать лет ничто не покрывалось столькими видами заказной лжи, как история мая 1968 года. Между тем из нескольких лишенных мистификации исследований об этих днях и их истоках все же были извлечены кое-какие полезные уроки, но это государственная тайна.

Уже десять лет назад во Франции президент республики, с тех пор забытый, но тогда всплывший на поверхность спектакля, выражал наивную радость, которую он почувствовал, «узнав, что отныне мы живем в мире без памяти и в нем, как на поверхности воды, один образ без конца вытесняется другим». В самом деле, это удобно для того, кто заправляет делами и умеет при них оставаться. Конец истории является “забавной” передышкой для любой современной власти. Он абсолютно гарантирует успех всех ее предприятий или, по крайней мере, шум вокруг него.

Абсолютная власть подавляет историю тем радикальнее, когда она имеет для этого экономические интересы или более настоятельные потребности, но главным образом в зависимости от того, насколько более или менее благоприятные практические возможности для осуществления этого она обнаруживает. Цинь Шихуанди приказал сжечь

книги, но ему не удалось устранить их вообще. В нашу эпоху Сталин продвинулся дальше в осуществлении подобного плана, но, вопреки разного рода пособничеству, которое он смог найти за пределами своей империи, оставалась обширная зона мира, недоступная для его полицейского управления, и там смеялись над его подлогами. Включенная театрализация добилась большего – благодаря и совершенно новым приемам, и тому, что на этот раз она действует в мировом масштабе. Над нелепостью, заставляющей уважать себя повсюду, больше не дозволено потешаться, во всяком случае, стало невозможным показывать, что над нею смеются.

Областью истории было незабвенное, полнота событий, чьи последствия еще долго будут проявляться. Это было неотделимо от познания, которому следовало продолжаться и способствовать, по крайней мере, частичному пониманию новых событий. «Приобретенное навсегда», – говорил Фукидид. В этом история была *мерой* подлинной новизны, но торговец новизной имеет абсолютную заинтересованность в том, чтобы устранить средства ее измерения. Когда сиюминутное социально навязывается как значительное и когда оно будет оставаться таковым еще мгновение, как другое и то же самое и как то, что всегда будет замешаться другой сиюминутной значимостью, можно с таким же успехом говорить о том, что используемый способ обеспечивает определенного рода вечность этой громогласно заявляющей о себе не-значимости.

Исключительно полезная выгода, которую спектакль извлек из этой *постановки истории вне закона*, заключается в том, что всю недавнюю историю он уже обрек на подпольное существование, и ему почти удалось заставить общество вообще забыть о духе истории и, прежде всего, покрыть общество своей собственной историей – историей хода нового завоевания мира. Его власть предстает уже знакомой, как будто она уже всегда была тут как тут. Узурпаторы всех времен хотели бы заставить забыть то, что *их власти – без году неделя*.

## VII

С разрушением истории самое современное событие моментально отстраняется на мифологическую дистанцию и оказывается среди неподтверждаемых рассказов, неконтролируемых статистических данных, неправдоподобных объяснений и невразумительных размышлений. На все эти глупости, предлагаемые в процессе показа, всегда могут ответить только средства массовой информации, посредством

каких-то преисполненных почтения исправлений или предостережений; но они явно скупаются на них, ибо, если отвлечься от их чрезвычайного невежества, их *взаимосвязи по сердцу и по профессии* с общим авторитетом спектакля и с обществом, которое он изображает, невозможность отстраниться от этого авторитета, чью величественность нельзя оскорблять, превращается для них в долг, а также в удовольствие. Нельзя забывать, что всякое средство массовой информации и в отношении зарплаты, и по другим формам вознаграждения или компенсации всегда имеет хозяина, а иногда и нескольких, и что всякое средство массовой информации вполне осознает свою заметность.

Все эксперты являются информационно-государственными и только так признаются в качестве экспертов. Всякий эксперт служит своему хозяину, ибо любая из прежних возможностей независимости была полностью сведена на нет организационными условиями современного общества. Эксперт, который служит лучше всех, — это, конечно же, лгуний эксперт. По разным мотивам в эксперте нуждаются только фальсификатор или невежда. Там, где индивид больше ничего не узнает сам, его неведение официально укрепляет эксперт. В прежние времена считалось нормальным, что существуют эксперты по искусству этрусков, и они всегда оказывались компетентными, ибо искусство этрусков не было представлено на рынке. Но, например, в эпоху, когда считается рентабельным химически фальсифицировать изрядное количество знаменитых вин, продавать их будет возможно, лишь если были подготовлены эксперты по виноделию, которые уговорят *олухов в погребках* полюбить новые легче опознаваемые отдушки. Сервантес заметил, что “под плохим платьем часто скрывается большой знаток вин”. Знаток вина часто ничего не смыслит в порядках атомной промышленности, но власть спектакля полагает, что если уж один эксперт занимается надувательством по поводу атомной промышленности, то другой эксперт вполне может делать то же самое и с винами. Ведь, например, в средствах массовой информации известно, насколько специалист по метеорологии, объявляющий температуру воздуха или предполагаемые дожди на будущие сутки, сохраняет осмотрительность из обязанности поддерживать экономическое, туристическое и региональное равновесие, когда столько людей столь часто циркулируют по стольким дорогам между местами, в равной степени опустошенными, так что ему с большим успехом подошла бы роль мистификатора.

Один из аспектов исчезновения всякого объективного исторического познания проявляется и в отношении любой личной репутации, которая стала податливой и исправляемой в соответствии с волей тех, кто контролирует всю информацию, и собираемую, и, абсолютно отличную от нее, распространяемую; таким образом, у них развязаны руки для фальсификации. Ибо историческая очевидность, о которой никто ничего не хочет знать в спектакле, больше таковой не является. Там, где личность обладает теперь лишь добрым именем, приписанным ей в качестве милости, оказанной по благорасположению зрелищного Двора, опала может последовать незамедлительно. Общеизвестность антизрелищная стала чрезвычайно редким явлением. Сам я, вероятно, один из последних обладающих ею живых людей и никогда не обладал иной известностью. Но это стало еще и чрезвычайно подозрительным. Общество официально провозгласило себя зрелищным. Быть известным вне отношений спектакля – это уже равнозначно известности в качестве врага общества.

Теперь позволительно полностью видоизменять чье-либо прошлое, радикально его переделывать, переписывая в стиле московских процессов, и даже без необходимости прибегать к неуклюжим способам судебного процесса. Можно убивать с гораздо меньшими издержками. Лжесвидетели могут быть неопытными (но какая способность почувствовать их неуклюжесть останется у зрителей, которые будут свидетелями походов подобных лжесвидетелей?), и поддельных документов всегда превосходного качества не может не доставать у тех, кто управляет включенной театрализацией, или у их друзей. Следовательно, больше невозможно верить никому и ничему из того, что ты не узнал самостоятельно и непосредственно. Но очень часто на самом деле ложно обвинять кого-либо нет необходимости. Как только кто-либо получает в руки механизм, повелевающий единственной общественной верификацией, которая вынуждает признавать себя полностью и повсеместно, он начинает говорить то, что хочет. Ход театрализованного доказательства осуществляется просто в движении по кругу: возвращаясь и повторяясь, продолжая утверждать в единственной сфере, где отныне пребывает то, что может утверждаться публично и вызывать абсолютное доверие, ибо только этому весь мир станет свидетелем. Власть спектакля может в равной степени и отрицать все, что угодно, единожды и трижды, и заявлять, что она не будет больше говорить об этом, и объявлять что-то совершенно иное, прекрасно зная, что она теперь не рискует получить никакого иного ответа ни на ее собственной, ни на какой-либо другой тер-



ритории. Ибо Агоры больше не существует, нет и повсеместных общин, ни даже ограниченных сообществ промежуточных органов управления, или автономных учреждений, салонов, или кафе, работников одного предприятия – нет места, где бы обсуждение истин, касающихся людей, которые бывают в подобных местах, могло хотя бы на какой-то срок освободиться от давящего присутствия дискурса средств массовой информации и от различных сил, организованных для распространения этого дискурса. Сегодня больше не существует гарантированного как относительно независимое суждения тех, кто прежде составлял ученый мир, например, обосновывавших свое высокомерие способностью к верификации, допускающей приближение к тому, что называли беспристрастной историей фактов, или, по крайней мере, веру в то, что она заслуживала быть познанной. Теперь больше не существует даже бесспорной библиографической истинности, и краткие подвергшиеся компьютерной обработке сводки на файлах национальных библиотек тем лучше смогут уничтожить ее следы. И все будут впадать в заблуждение, думая о том, кем еще недавно были должностные лица, медики, историки, и об их профессиональном долге, который они часто признавали для себя обязательным в пределах своей компетенции, *ибо люди больше похожи на свое время, чем на своих родителей.*

То, о чем спектакль может прекратить говорить в течение трех дней, является подобным несуществующему. Ибо в это время он уже говорит о чем-то другом, а стало быть, в итоге теперь существует именно это. И практические последствия этого, как мы видим, огромны.

Прежде все полагали, что история появилась в Греции вместе с демократией. Сегодня можно удостовериться, что вместе с ней она и исчезнет из мира.

Однако в этот список триумфов власти нужно добавить и один негативный для нее результат: государством, в сфере управления которым прочно устанавливается огромный дефицит исторических знаний, больше нельзя руководить стратегически.

## VIII

Кажется, будто общество, объявляющее себя демократическим, достигая стадии включенной театрализации, повсеместно признается как реализация некоего *хрупкого совершенства*. И выходит, что, поскольку оно хрупкое, оно больше не должно подвергаться нападкам, а кроме того, больше не является объектом критики, поскольку оно совершенно, как никакое из когда-либо существовавших обществ. Это об-

щество хрупкое, потому что с большим трудом справляется с опасностью собственной технологической экспансии. Но это общество слишком совершенно для того, чтобы быть управляемым, и доказательством этому служит то, что все, стремящиеся управлять этим обществом, хотят управлять им одинаковыми приемами и поддерживать его почти в точности в том состоянии, в каком оно находится. В современной Европе впервые никакая из партий или партийных фракций больше не пытается даже претендовать на попытку изменения чего-либо важного. Товар больше не может критиковаться никем: ни в качестве общей системы, ни даже в качестве вот этого конкретного барахла, которое главам предприятий заблагорассудилось в данный момент выставить на рынок.

Повсюду, где царит спектакль, единственными организованными силами являются силы, его желающие. Следовательно, больше никто не может быть врагом существующего, как и нарушить касающийся всех *закон молчания*. Уже покончили с беспокоящим представлением, господствовавшим более двух сотен лет, согласно которому общество может быть критикуемым и трансформируемым, реформируемым или революционизируемым. И это было достигнуто не из-за появления новых аргументов, но просто благодаря тому, что все аргументы стали бесполезными. И этим результатом будет измеряться не столько всеобщее благоденствие, сколько ужасная сила сетей тирании.

Никогда цензура не была более совершенной. Никогда мнению тех, кого в некоторых странах еще уверяют, что они остаются свободными гражданами, не было менее дозволено проявить себя каждый раз, когда заходит речь о выборе, который повлияет на их реальную жизнь. Никогда не было позволено навязывать им ложь со столь абсолютной безнаказанностью. Считается, что зритель ни о чем не знает и ничего не заслуживает. Тот, кто всегда лишь смотрит, чтобы узнать последствия, никогда не будет действовать – но ведь таким и должен быть зритель. В цитатах часто мелькает упоминание об исключительности Соединенных Штатов, где Никсон в конце концов однажды пострадал из-за серии слишком циничных и неуклюжих запирательств, но это чисто локальное исключение, которое имело под собой несколько старых исторических причин, явно больше не является истинным, поскольку уже Рейган не так давно безнаказанно мог делать то же самое. Воистину, все, к чему когда-либо не были применены санкции, является дозволенным. Значит, говорить о скандале стало слишком архаичным. Предоставим государственному деятелю

Италии первой величины, одновременно заседавшему в министерстве и в параллельном правительстве – в ложе, называемой “Р. 2”, “Potere Due”, – слово, наиболее глубоко и кратко характеризующее период, в который чуть позже Италии и Соединенных Штатов входит весь мир: “Скандалы были, но их больше нет”.

В книге *Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта* Маркс описывал усиливавшуюся роль государства во Франции периода Второй империи, наводненной тогда полумиллионом функционеров: «Таким образом, все становится объектом правительственной деятельности, начиная от моста, постройки школьного здания, общинной собственности какой-нибудь деревни, вплоть до железных дорог, государственных поместий и провинциальных университетов». Знаменитый вопрос о финансировании политических партий ставился уже в ту эпоху, – ведь Маркс отмечал, что «партии, поочередно боровшиеся за превосходство, видели в захвате в собственное владение этой громадной постройки главную добычу победителя». Все это звучит все же немного буколически и, как говорится, устарело, поскольку спекуляции сегодняшнего государства, скорее, касаются новых городов и автодорог, подземных коммуникаций и производства ядерной энергии, разведки нефти и компьютеров, управления банками и общественно-культурными центрами, видоизменений “аудио-визуального ландшафта” и подпольного экспорта вооружений, торговли недвижимостью и фармацевтической промышленности, обеспечения продовольствием и управления больницами, военных кредитов и тайных фондов департаментов, возрастающих ежечасно, что и должно управлять многочисленными службами защиты общества. И тем не менее Маркс, к несчастью, слишком долго остается актуальным, когда в той же самой книге упоминает об этом управлении, «которому не требуется ночь для принятия решений, чтобы исполнять их днем, ибо оно решает днем, а исполняет ночью».

## IX

Эта столь совершенная демократия сама формирует для себя непостижимого врага – терроризм. В самом деле, она желает, чтобы *о ней судили не столько по ее результатам, сколько по ее врагам*. История терроризма пишется государством и, следовательно, имеет назидательную функцию. Популяции зрителей, конечно, не могут знать о терроризме всего, но всегда могут знать достаточно, чтобы убеждаться, что по сравнению с терроризмом все остальное должно казаться для них достаточно приемлемым, во всяком случае, более рациональным и демократическим.

Модернизация методов подавления в конце концов привела к усовершенствованию, прежде всего в итальянском показательном эксперименте под именем “повинившихся”, института присяжных *профессиональных обвинителей*; тех, кому в XVII веке при их первом появлении во время волнений Фронды дали имя “дипломированных свидетелей”. Этот показательный прогресс юстиции наводнил итальянские тюрьмы многими тысячами осужденных, которые расплачиваются за никогда не происходившую гражданскую войну, за некий вид громадного вооруженного восстания, час которого лишь по случайности так и не настал, за “путчизм”, сотканный из той же материи, что и сновидения.

Можно заметить, что интерпретация загадок терроризма как будто внесла симметрию между противоречивыми мнениями, как если бы речь шла о двух философских школах, публично исповедующих абсолютно антагонистические метафизические конструкции. Одни не видят в терроризме ничего, кроме каких-то достаточно очевидных манипуляций секретных служб. Другие полагают, что террористов, наоборот, можно упрекать лишь за полное отсутствие у них исторического чувства. Но хоть какое-то использование исторической логики позволило бы достаточно быстро прийти к заключению, что нет ничего противоречивого в признании того, что люди, у которых совершенно отсутствует чувство истории, могут в одинаковой степени оказаться объектом манипуляций, и даже еще гораздо легче, чем другие. Также гораздо легче привести к “покаянию” того, кому можно доказать, что о его мнимо произвольных занятиях все было известно заранее. Неизбежное следствие организованных подпольных формирований военного типа таково, что достаточно внедрить в определенные точки сети лишь несколько человек, чтобы заставить многих ее членов работать в определенном направлении и в конце концов разрушить ее. В подобных вопросах, касающихся оценки вооруженных выступлений, критика иногда должна анализировать каждую из этих операций в отдельности, не позволяя сбивать себя с толку общим сходством, которое всем им в известных случаях будет приписано. Впрочем, необходимо было рассчитывать, как на логически вероятное, что службы защиты государства вздумают использовать все выгоды, которые они обнаружат в сфере спектакля, организованного задолго до этого именно с этой целью, и, наоборот, как раз трудность, с которой об этом догадываются, является поразительной и выглядит неправдоподобно.

Современный интерес репрессивного судопроизводства в этой сфере, конечно же, заключается в по возможности более стремительном обобщении. То, что действительно важно для данного вида товара, так это этикетка или упаковка – то есть переключатели кодировки. Всякий враг зрелищной демократии стоит любого другого, как равноценны и все зрелищные демократии. Таким образом, право на убежище для террористов существовать больше не может, и даже если кого-то из них пока не упрекали в том, что он им был, то он им неизбежно станет, и экстрадиция окажется действительно необходимой. В ноябре 1978 года в деле Габора Винтера, молодого типографского рабочего, осужденного правительством Федеративной Республики Германии в основном за то, что он издал несколько революционных листовок, мадемуазель Николь Прадэн, представлявшая прокуратуру в обвинительной палате парижского апелляционного суда, быстро доказала, что “политические мотивы” – единственная причина отказа в выдаче, предусмотренная франко-германской конвенцией 29 ноября 1951 года, – не могут быть применены: «Габор Винтер – не политический, а общественный правонарушитель. Он отрицает общественные формы принуждения. У настоящего политического правонарушителя нет чувства отторжения по отношению к обществу. Он борется с политическими структурами, а не со структурами социальными как в случае Габора Винтера». Понятие респектабельного политического правонарушения стало признанным в Европе лишь начиная со времени, когда буржуазия с успехом нападала на установленные прежде социальные структуры. Статус политического правонарушения не мог отделяться от разнообразных интенций социальной критики. Это было применимо к Бланки, Варлену и Дюррютти. Следовательно, сегодня только делают вид, будто хотят сохранить, как недорогое удовольствие, чисто политическое правонарушение, которое, вероятно, больше никто и никогда не будет иметь возможности совершить, потому что больше никто и не интересуется этим предметом, разве что сами профессионалы от политики, чьи преступления почти никогда не преследуются, а также не называются политическими. Все правонарушения и преступления в действительности являются общественными. Но из всех социальных преступлений ни одно не будет считаться серьезнее непонятого притязания желать еще что-то изменить в обществе, полагаящем, что до сих пор оно было слишком терпимым и добрым, но которое *больше не желает быть осуждаемым.*

## Х

Разрушение логики производилось в соответствии с основными интересами новой системы господства. различными средствами, пускавшимися в ход при неизменной взаимной поддержке. Многие из этих средств относятся к техническому обеспечению, которое спектакль экспериментально прорабатывал и популяризировал, но некоторые из них скорее связаны с массовой психологией подчинения.

В плане технологий, когда сконструированный и выбранный кем-то другим образ становится главной связью индивида с миром, на который прежде он смотрел сам, — то в каждом месте, где бы он ни оказался, очевидно, он будет узнавать лишь образ, несущий в себе все, потому что внутри одного и того же образа безо всякого противоречия можно располагать что угодно. Поток образов вовлекает в себя все, подобно тому, как некто другой по собственной воле сразу и управляет этим упрощенным отображением воспринимаемого мира, и выбирает, куда же направить этот поток, так же как и ритм того, чему суждено в нем проявляться в качестве непрерывных сумасбродных неожиданностей, не оставляя ни малейшего времени на размышление, и полностью независимо от того, смог ли что-либо из этого уразуметь или помыслить зритель. В этом конкретном опыте перманентного подчинения лежит психологический корень столь всеобщего одобрения наличествующего, которое доходит до того, что признает в нем достаточную ценность *ipso facto*. Помимо того, что является собственно секретным, очевидно, зрелищный дискурс замалчивает все, что ему не подходит. От демонстрируемого он всегда отделяет окружение, прошлое, намерения и последствия. Следовательно, он полностью антилогичен. И раз уж никто больше не может ему противоречить, спектакль обретает право противоречить самому себе и исправлять свое прошлое. Высокомерная позиция его служителей, когда им приходится сообщать новую и, возможно, еще более лживую версию определенных фактов, проявляется в том, что они сурово исправляют неведение и недолжные интерпретации, приписываемые ими публике, тогда как еще накануне они сами с обычной убежденностью как раз и старались распространить это заблуждение.

Таким образом, уроки спектакля и невежество зрителей неправомерно приводятся в качестве антагонистических факторов, а между тем они появляются друг из друга. Бинарный язык компьютера в равной степени является непреодолимым побуждением к тому, чтобы в каждое мгновение безоговорочно принимать то, что было запрограм-

мировано, как заблагорассудилось кому-то другому, и то, что выдавало себя за вневременной исток высшей логики, тотальной и беспристрастной. Какой тут выигрыш в скорости и в запасе слов для того, чтобы судить обо всем? Политический? Социальный? Нужно выбирать. То, что является одним, не может быть иным. Мой выбор становится действительно необходимым. Нам насвистывают, зная, для кого существуют эти структуры. А значит, не удивительно, что с раннего детства обучение школьников с легкостью и энтузиазмом начинается с Абсолютного Знания информатики, в то время как в дальнейшем они почти всегда не могут научиться чтению, которое требует подлинной способности суждения о каждой строчке, и которое одно лишь может открыть доступ к огромному дозрелищному опыту человечества. Ибо умение вести беседу почти мертво, и вскоре будут мертвы многие из умеющих разговаривать.

В плане же средств мышления современных популяций первая причина упадка явно связана с тем обстоятельством, что всякий дискурс, продемонстрированный в спектакле, не оставляет никакого места для ответа, а логика может социально сформироваться только в диалоге. Но также и тогда, когда распространилось уважение к тому, кто говорит в спектакле и кто предположительно является важным, богатым, престижным, *самим авторитетом*, среди зрителей также распространяется тенденция желать быть столь же алогичными, как и предлагаемое зрелище, чтобы выставлять напоказ индивидуальное отражение подобного авторитета. Наконец, логика нелегка, и никто не желает ее преподавать. Ни один наркоман не изучает логику и потому, что он в ней больше не нуждается, и потому, что у него больше нет такой возможности. Подобная леность зрителя является леностью еще и любого штатного интеллектуального сотрудника, наскоро обученного специалиста, который во всех случаях попытается скрывать узкие границы своих знаний догматическим повторением какого-нибудь алогичного авторитетного аргумента.

## XI

Как правило, полагают, что доказавшие свою наибольшую неспособность в сфере логики и есть те, кто провозгласил себя революционерами. Этот неоправданный упрек исходит из предшествовавшей эпохи, когда почти все люди мыслили с каким-то минимумом логики, за явным исключением слабоумных и боевиков, причем у последних часто к этому примешивалась осознанная недобросовестность, потому что она считалась результативной. Но сегодня невозможно пре-

небрегать тем обстоятельством, что, как и следовало ожидать, интенсивное применение спектакля идеологизировало большинство наших современников, пусть даже фрагментарно и неодинаково. Отсутствие логики, то есть, утрата возможности немедленно распознавать важное, второстепенное или не относящееся к делу; то, что является несовместимым, или, наоборот, могло бы стать дополнительным, все, что предполагается таким следствием и что одновременно запрещается, – такая болезнь намеренно была привита населению в большой дозе *анестезиологами-реаниматорами* спектакля. Люди протестующие никоим образом не были более иррациональными, чем подчиненные. Только эта всеобщая иррациональность воспринимается первыми более интенсивно, потому что, демонстрируя свой проект, они пытаются произвести какое-то практическое действие, даже если, читая некоторые тексты, они показывают, что понимают их смысл. Они давали себе различные обязательства овладеть логикой вплоть до стратегии, каковая в точности и представляет собой полное поле развертывания диалектической логики противоречий, тогда как, подобно всем остальным, они сами напрочь лишены простой способности руководствоваться старыми несовершенными инструментами формальной логики. Но на их счет не возникает сомнений, а вот обо всех остальных почти никто не думает.

И таким образом, индивид, на которого подобное обедненное показное мышление наложило глубокий отпечаток, *большой, чем любой другой элемент его формирования*, с самого начала ставится на службу установленному порядку, при том, что его собственное субъективное намерение могло быть полностью противоположным по отношению к такому результату. В самом главном он будет следовать языку спектакля, ибо это единственный знакомый ему язык – язык, на котором его выучили говорить. Несомненно, он пожелает зарекомендовать себя врагом его риторики, но будет употреблять его синтаксис. Это одно из самых главных достижений, полученных благодаря господству спектакля.

Столь быстрое исчезновение предшествующего словаря является лишь моментом этой процедуры. И обслуживает ее.

## XII

Стирание личности фатально сопровождает условия существования, конкретно подчиненные нормам спектакля и, таким образом, всегда более отделенные от возможностей познавать свои подлинные переживания, тем самым открывая собственные индивидуальные пред-



почтения. Парадоксально, но индивидуальность должна постоянно отказываться от самой себя, если она стремится быть хоть немного уважаемой в данном обществе. В самом деле, такое существование выдвигает в качестве условия непрерывно изменяющуюся преданность — следствие всегда обманчивой приверженности его фальшивым продуктам. Нужно как можно скорее угнаться за инфляцией обесцененных признаков жизни. Наркотики помогают приспособиться к такому положению вещей, безумие помогает бежать от него.

Во всех видах деловых отношений этого общества — в котором *распределение* благ централизовано таким образом, что оно явным и одновременно тайным способом становится хозяином самого определения того, что же может быть благом, — случается, что определенным личностям приписывают совершенно воображаемые качества, знания, а иногда даже пороки, чтобы этими причинами объяснить удовлетворительное развитие кое-каких затей, и все это с единственной целью скрыть или хотя бы по возможности замаскировать функцию различных *словоров, которые решают всё*.

Однако, несмотря на свои мощные средства и многократные поползновения высветить в натуральную величину многочисленные персонажи, считающиеся замечательными, современное общество, — и не только благодаря сегодняшним заменителям искусства или с помощью дискурсов, создаваемых по этому поводу, — намного чаще показывает прямо противоположное, ибо полная немощь сталкивается с другой подобной ей неспособностью и они изматывают друг друга, — тогда вопрос будет ставиться только о том, кто перед кем быстрее спасует. Бывает, что адвокат, забыв, что он фигурирует в процессе лишь для того, чтобы отстаивать чьи-либо интересы, искренне подпадает под влияние рассуждений адвоката противоположной стороны, даже если эти рассуждения оказываются столь же нелогичными, как и его собственные. Бывает также, что и невиновный подозреваемый моментально признается в преступлении, которого он не совершал, по единственной причине: оказываясь под впечатлением гипотетической *логики* доносчика, стремящегося заставить его признать себя виновным (случай доктора Аршамбо в Пуатье в 1984 году).

Сам Маклюэн — первый апологет спектакля, который казался самым убежденным из идиотов своего века, — изменил свое мнение в 1976 году, обнаружив, что «натиск *масс-медиа* подталкивает к иррациональному» и что когда-нибудь станет необходимым сдерживать его использование. Прежде мудрец из Торонто несколько десятилетий

восторгался множеством свобод, которые якобы принесет эта «планетарная деревня», столь быстро становящаяся доступной всем без всяких усилий. Деревни, в противоположность городам, всегда находились под властью конформизма и разобшения, мелочного надзора, скуки, всегда повторяющихся сплетен об одних и тех же немногочисленных семьях. Именно в таком ракурсе отныне видится пошлость планеты спектакля, когда больше невозможно отличить династию Гримальди-Монако или Бурбонов-Франко от династии, которая заменила Стюартов. Однако неблагодарные ученики пытаются сегодня заставить всех позабыть о Маклюэне и обновить его первые открытия, в свою очередь нацеливаясь на карьеру с помощью хвалы в средствах массовой информации всем тем новым свободам, которые якобы заключаются в том, чтобы наугад “выбирать” среди мимолетного. И вероятно, они отрекутся от себя еще быстрее, чем их вдохновитель.

### XIII

Спектакль не скрывает лишь некоторые из опасностей, которые окружают установленный им чудесный порядок. Загрязнение океанов и уничтожение экваториальных лесов угрожают регенерации кислорода Земли, ее озоновый слой плохо сопротивляется индустриальному прогрессу, необратимо накапливается фоновая радиация. Спектакль лишь делает вывод, что это не имеет значения, и желает говорить только о датах и дозах. И как раз только этим ему и удастся внушать спокойствие – вот что разум дозрелищный посчитал бы совершенно невозможным.

Методы показной демократии относятся к числу очень гибких, в противоположность бесхитростной прямолинейности тоталитарного *диктата*. Мы можем сохранять название, когда вещь была втайне изменена (наименование пива, мяса, философа). Можно также изменять имя, тогда как вещь втайне продолжает оставаться сама собой: например, в Англии завод по переработке ядерных отходов в Виндскейле был вынужден переименовать свое местоположение в Селлафилд, чтобы было удобнее отводить подозрения, возникшие после разрушительного пожара 1957 года, но это топонимическое укрывательство не воспрепятствовало возрастанию смертности от рака и лейкемии в его округе. Английское правительство “по-демократически” сообщило об этом тридцать лет спустя, в свое же время доклад о катастрофе, которая, как не без оснований считали, естественно, подорвет доверие, оказываемое общественностью ядерной промышленности, решили сохранить в тайне.

Занятия ядерными исследованиями, военными или гражданскими, более, чем другие, вызывают необходимость в сохранении тайны, которой, как известно, им все равно не хватает. Чтобы облегчить жизнь, то есть ложь, ученым, избранным хозяевами этой системы, нашли полезным изменять еще и единицы измерения, варьировать их в соответствии с наибольшим числом точек зрения, делать их более утонченными для того, чтобы быть в состоянии по обстоятельствам жонглировать некоторыми из этих трудно взаимобратимых цифр. Именно поэтому в оценке радиоактивности мы теперь располагаем следующими единицами измерения: *кюри*, *беккерель*, *рентген*, *рад*, иначе *центигрей*, *рем*, не забывая о более легких – *миллирад* и *зиверт*, который есть не что иное, как единица в сто рем. Одно это навеивает воспоминания о названиях английских монет, со сложностью которых не так-то легко было справиться иностранцам во времена, когда Селлафилд еще назывался Виндскейлом.

Можно представить себе строгость и точность, каких в XIX веке могла достичь военная история, если бы теоретики стратегии, чтобы не разглашать слишком конфиденциальную информацию нейтральным комментаторам или вражеским историкам, обыкновенно ограничивались бы отчетом о каком-либо сражении в следующих терминах: «Предварительная фаза включала серию стычек, где с нашей стороны крепкий авангард, состоящий из четырех генералов и единиц, вверенных их командованию, столкнулся с вражеским корпусом, насчитывающим 13 000 винтовок. В последующей стадии развернулось сражение в сомкнутых боевых порядках, которое длилось продолжительное время и в которое полностью включилась вся наша армия с ее 290 пушками и ее тяжелая кавалерия в 18 000 сабель, тогда как войска противника насчитывали не менее 3600 лейтенантов инфантерии, сорок гусарских капитанов и двадцать четыре капитана кирасиров. После череды неудач и успехов то одной, то другой стороны в результате исход баталии может рассматриваться как не решенный в чью-либо пользу. Наши потери были скорее ниже средней цифры, какую обычно констатируют в сражениях подобной интенсивности и продолжительности, и, будучи значительно выше потерь греков при Марафоне, оставались все-таки ниже потерь пруссаков в битве под Йеной». По этому примеру специалист вполне может составить для себя смутное представление о силах, участвовавших в сражении, но наверняка о ходе боевых действий невозможно будет вынести никакого суждения.

В июне 1987 года Пьер Башер, заместитель директора по материально-техническому обеспечению *Electricité de France*, изложил новейшую доктрину безопасности атомных электростанций. Если снабдить их затворами и фильтрами, то станет намного легче избежать крупных катастроф, разрывов или растрескивания оболочки, которые затрагивали бы безопасность целого "региона". А это то, чего всячески желают избежать. Не лучше ли всякий раз, когда кажется, что система начинает работать в режиме перегрузки, мягко снижать в ней давление, орошая выбросами лишь соседний участок шириной в несколько километров, который всякий раз к тому же будет совершенно случайно и в разной конфигурации распространяться волею ветров. Он сообщил также, что в течение двух предыдущих лет секретные испытания, которые проводились в Кадараше, в департаменте Дром, «конкретно продемонстрировали, что выбросы газов в основном не превышают нескольких тысячных или, в худшем случае, одного процента радиоактивности, находящейся внутри оболочки». Следовательно, это наихудшее остается очень скромным – всего один процент. Но прежде все были уверены, что никакой риск, за исключением опасности несчастных случаев, логически невозможен. Первые годы эксперимента изменили это рассуждение таким образом: раз уж несчастные случаи возможны всегда, значит, следует всячески избегать лишь того, чтобы он достиг катастрофического порога, и это очень удобно. Достаточно сдержанно заражать местность от выброса к выбросу. Кто же не понимает, что бесконечно целебнее ограничиться выпиванием в течение нескольких лет по 140 грамм водки в день, вместо того, чтобы сразу же начинать напиваться, как поляки!

Несомненно, можно только сожалеть, что человеческое общество встретилось со столь жгучими проблемами в момент, когда стало материально невозможным донести до понимания людей малейшее возражение по отношению к рыночному дискурсу, в момент, когда власть, как раз потому, что она защищена спектаклем от любой реакции на ее решения, равно как и бредовые и фрагментарные оправдания, *полагает, что у нее больше нет потребности мыслить*, что на деле значит то, что она разучилась мыслить. Насколько бы неколебимыми ни были демократы, не предпочтут ли они, чтобы им выбрали хозяев поумнее?

На международной конференции экспертов, проведенной в декабре 1986 года в Женеве речь шла попросту о мировом запрете на производство фреона – газа, который мало-помалу, но все более стреми-

тельными темпами приводит к исчезновению тонкого озонового слоя, укрывающего нашу планету и (заметьте это!) от последствий вредоносного космического излучения. Даниэль Вериль – представитель отдела химических продуктов компании *Elf-Aquitaine*, присутствовавший в этом качестве в составе французской делегации, жестко противостоял этому запрету, сделав многозначительное замечание: “Ведь на разработку возможных заменителей потребуется три года, а цены могут увеличиться в четыре раза”. Но известно, что этот исчезающий озоновый слой, расположенный на значительной высоте, не принадлежит никому и совершенно не имеет рыночной стоимости. Следовательно, *индустриальная* стратегия смогла заставить своих оппонентов определить всю их необъяснимую экономическую беззаботность в следующем призыве к реальности: “Слишком рискованно основывать индустриальную стратегию на императивах, относящихся к вопросам окружающей среды”.

Те, кто уже давно начал критиковать политическую экономию, определив ее как “завершившееся отрицание человека”, не ошиблись. И мы все больше будем в этом убеждаться.

#### XIV

Говорят, будто сегодня наука подчинена императивам экономической рентабельности, но это было истинным всегда. Новым же оказывается то, что экономика доходит до открытой войны с людьми, и не только против возможностей их жизни, но и против возможностей их выживания. И именно теперь научная мысль, вопреки значительной части собственного прошлого, когда она ратовала за отмену порабощения, принимает решение служить зрелищному господству. Вплоть до этого выбора наука обладала относительной автономией. Следовательно, она знала, как мыслить свой участок реальности, и, таким образом, могла вносить огромный вклад в увеличение средств экономики. Когда же всемогущая экономика становится безумной, а сама эпоха господства спектакля иною и не является, она уничтожает последние следы научной автономии, как в плане методологии, так и в связанных с ним практических условиях деятельности “исследователей”. От науки больше не требуется ни понимать мир, ни что-то в нем улучшать. От нее постоянно требуют незамедлительно оправдывать происходящее. Господство спектакля, столь же неразумное в этой области, как и во всех остальных, которые оно эксплуатирует с крайне пагубным безрассудством, рубит гигантское древо научного познания с единственной целью – выстрогать из него себе дубину. Но чтобы повиноваться такому радикальному социальному

требованию, оправдать которое явно невозможно, лучше уж разучиться мыслить, но взамен достаточно хорошо поднатаскаться в освоении комфортных средств зрелищного дискурса. И получилось, что в такой нише с большим проворством и совершенно добровольно устроилась в своей самой современной специализации протитуированная наука наших презренных времен.

Наука лживого оправдания появилась совершенно естественно с первыми симптомами упадка буржуазного общества, вместе с раковой опухолью псевдонаук, называемых “науками о человеке”, но, например, современная медицина могла еще некоторое время слыть полезной, хотя те, кто победил оспу или проказу, были совсем другими людьми, нежели те, кто подло капитулировал перед атомной радиацией или продовольственной химией. И сегодня с поспешностью отмечают, что, конечно же, медицина уже не имеет права защищать здоровье населения от патогенной среды, ибо это означало бы для нее противопоставить себя государству или просто фармацевтической промышленности.

Но не только тем, что современная научная деятельность обязана скрытничать, она признается в том, во что превратилась. Очень часто это проявляется и в том, о чем у нее хватает наивности говорить. Профессора Эван и Андрие из больницы Ланнек, объявив в ноябре 1985 года после недельного эксперимента над четырьмя больными о вероятности открытия действенного лекарства против СПИДа, через два дня после того, как больные умерли, возмущались по поводу некоторых сомнений, высказанных многими врачами, не так продвигнувшимися в исследованиях или же, быть может, завидовавшими их достаточно поспешной манере прибегать к регистрации того, что было лишь обманчивой мнимостью победы за несколько часов до краха. И “первооткрыватели” ничтоже сумняшеся защищали себя от любых возражений, утверждая, что, «в конце концов, лучше ложные надежды, чем вовсе никаких». Они даже оказались слишком невежественны, ибо не ведали, что один только этот аргумент и есть полное отрицание научного духа и что на протяжении истории именно он служил тому, чтобы прикрывать корыстные фантазии колдунов и шарлатанов во времена, когда им еще не доверяли управление госпиталями. Когда официальная наука докатилась до того, чтобы так себя вести, подобно всему остальному общественному спектаклю, который под видом материально модернизированного и обогащенного представления только и воспроизводит обветшалые технологии ярмарочных

подмостков — *заправил, фокусников, зазывал*, уже больше нельзя удивляться, когда видишь, как почти повсюду параллельно с этим огромное влияние приобретают колдуны и секты, дзен в вакуумной упаковке или теология мормонов. Невежество, которое всегда хорошо прислуживало установленной власти, еще и эксплуатировалось хитроумными предприятиями на грани законности. Какой же момент подходит здесь лучше этого, когда настолько усугубилась неграмотность? Но эта реальность, в свою очередь, отрицается и иной демонстрацией колдовства. ЮНЕСКО с самого основания приняла научное, очень точное определение увидели, как совершенно неожиданно то же явление возвращается на этот раз в так называемые развитые страны, подобно тому, неграмотности, побороть которую в остальных странах она поставила себе задачей. Когда же как другому деятелю, в ожидании Груши увидевшему, как на поле битвы появился Блюхер, достаточно было приставить к экспертам Гвардию, — они в неодолимом порыве быстро изменили формулу, заменив термин *неграмотность* термином *иллетризм* (малограмотность) — вот как кстати может подвернуться патриотическая ложь для того, чтобы поддержать правое национальное дело. И чтобы подвести прочное основание под уместность неологизма в среде педагогов, ему быстро “протащили” новое определение, будто бы он принят издавна, согласно которому “неграмотный” был, как известно, вообще не научившимся читать, а “малограмотный” в современном смысле является наоборот, тем, кого обучали чтению (и даже *обучали лучше*, чем прежде, как хладнокровно могут единогласно засвидетельствовать самые способные из теоретиков и официальных историков педагогики), но кто по случайности *тут же забыл* об этом. Это неожиданное объяснение могло бы оказаться более смущающим, чем успокаивающим, если бы в нем не содержалось искусства уклоняться от разговора о первоочередном следствии, обходя его тщательно и как будто просто его не замечая, хотя оно сразу же пришло бы на ум всем во времена более научные, а именно что этот последний феномен сам заслуживал бы объяснения и преодоления, и потому его никогда не могли где бы то ни было наблюдать или даже просто вообразить до эпохи современного прогресса сифилитической мысли, в которой вырождение в объяснениях идет нога в ногу с дегенерацией в практике.

## XV

Вот уже больше ста лет, как «Новый словарь французских синонимов» А.-Л. Сарду определил нюансы, которые следует улавливать

между словами: *фальшивый, обманчивый, лживый, обольстительный, лукавый, коварный* – и которые все вместе составляют сегодня некий род цветовой палитры, подходящей для написания портрета общества спектакля. Ни его времени, ни его опыту как специалиста не подобало излагать столь отчетливо соположенные, но совершенно различные ощущения опасностей, с какими, что вполне естественно можно ожидать, придется столкнуться всякой группе, которая посвятит себя подрывной деятельности, например, согласно такой градации: *заблуждающийся, спровоцированный, внедренный, подтасованный, незаконно присвоенный, извращенный*. Во всяком случае, эти значительные нюансы так и не появились у теоретиков “вооруженной борьбы”.

«*Фальшивый* – от латинского *fallaciosus*, способный или привыкший обманывать, полный коварства, ибо это прилагательное равнозначно превосходной степени причастия *обманывающий*. Тот, кто обманывает или вводит в заблуждение, каким бы способом это ни происходило, является *обманщиком*; тот же, кто делает это, чтобы обмануть, употребить во зло, ввести в заблуждение по подготовленному плану обмана, с помощью искусных средств и ухищрений навязывая его как наиболее подходящее для злоупотребления, является *фальшивым*. *Обманщик* – слово родовое и многозначное. Все виды нечетких знаков и явлений являются *обманчивыми*; *фальшивый* же обозначает ложность, коварство, рассчитанное надувательство; таким образом, речи, протесты, софистические рассуждения являются *фальшивыми*. Это слово соотносится со словами *лживый, обольстительный, коварный, лукавый*, но не равнозначно им. Слово *лживый* обозначает все виды внушения ложных впечатлений или заранее согласованные козни с целью извлечения выгоды или нанесения вреда, например лицемерие, клевету и т. д. Слово *обольстительный* выражает собственно действие, направленное на овладение кем-то, на введение его в заблуждение умелыми и вкрадчивыми действиями. Слово *коварный* отмечает лишь то, что действие состоит в умении расставить ловушки и заманивании в них жертвы. Слово *лукавый* ограничивается тонким движением, состоящим в том, чтобы застать кого-либо врасплох и подтолкнуть его к заблуждению. Слово же *фальшивый* включает в себя большую часть указанных свойств».

## XVI

Еще достаточно новое понятие *дезинформации* было недавно импортировано из России вместе с массой других изобретений полезных



для управления современным государством. Оно всегда “официально” употреблялось властью, или “попутно” людьми, обладающими частью экономического или политического авторитета, ради сохранения *статус-кво*, и его употреблению всегда приписывалась функция *контрнаступления*. То, что может противопоставить себя единственной официальной истине, разумеется, должно быть дезинформацией, исходящей из лагеря враждебного или, по крайней мере, соперничающего, и ей следует быть сфальсифицированной намеренно и по злему умыслу. Дезинформация не считалась попросту отрицанием факта, удобного властям, или простым утверждением факта, который их не устраивает, – это обычно называется психозом. В противоположность стопроцентной лжи, дезинформация – и вот чем это понятие интересно для защитников господствующего общества – должна фатально содержать определенную долю истины, но намеренно подтасованную хитрым врагом. Власть, которая говорит о дезинформации, не полагает, что сама абсолютно лишена недостатков, но знает, что может приписать всякой конкретной критике ту чрезмерную несущественность, что заключена в природе дезинформации, и, выходит, ей так и не придется сознаваться в каком-то частном недостатке.

Короче говоря, дезинформация считается дурным использованием истины. Тот, кто ее распространяет, – виновен, а тот, кто ей верит, – недоумок. Но кто же, стало быть, является этим хитрым врагом? В данном случае им не может быть терроризм, который не сопряжен с таким риском, поскольку ему отводится роль онтологически представлять собою самое грубое и наименее приемлемое *заблуждение*. Благодаря своей этимологии и недавним воспоминаниям об ограниченных столкновениях, которые к середине века на короткое время противопоставили Восток Западу, а сосредоточенную театрализацию – рассредоточенной, еще и сегодня капитализм включенной театрализации делает вид, будто верит, что тоталитарный бюрократический капитализм (иногда даже представляемый как отсталая тыловая база или вдохновитель террористов) остается его сущностным врагом, подобно тому как последний будет заявлять то же самое о первом, несмотря на неисчислимые доказательства их союза и глубокой солидарности. На самом деле все типы власти, которые установились вопреки нескольким реальным локальным видам соперничества и вообще не желая об этом заявлять, непрерывно думают о том, что однажды могло бы напомнить – наряду с подрывными силами и без большого успеха в то время – о высказывании одного из редких не-

мецких интернационалистов после начала войны 1914 года: Главный враг – в нашей стране. Дезинформация, в конечном счете, эквивалентна тому, что в дискурсе социальной войны XIX века представляли дурные наклонности. Это все, что оказывалось смутным и желало бы противопоставить себя необыкновенному счастью, которым, как всем известно, это общество стремится облагодетельствовать оказывающих ему доверие. Счастье, за которое невозможно слишком дорого заплатить разного рода незначительными осложнениями или неприятностями... И все, кто *видят* это счастье в спектакле, соглашались, что не стоит скупиться, когда речь идет о его цене, а вот другие занимаются дезинформацией.

Другая выгода, обнаруживаемая при разоблачении *частной дезинформации*, когда ее так называют, – это то, что впоследствии глобальный дискурс спектакля якобы не будет подозреваться в том, что он содержит ее, поскольку он сам с наивысшей достоверностью обозначает сферу, в которой единственно может быть признана дезинформация, а именно все, что можно говорить и что ему не понравится.

Несомненно, как раз из-за подобного заблуждения (во всяком случае, это более вероятно, чем преднамеренный обман) во Франции недавно рассматривался проект официально приписать средствам массовой информации некий вид ярлыка “свободно от дезинформации», ибо оно задевало нескольких профессионалов от “*масс-медиа*”, которые еще хотели верить, или просто скромно уверяли, что, в действительности, они впредь не будут подвергаться цензуре. Но вот что самое главное: очевидно, что понятие дезинформации не должно употребляться *для защиты* и к тому же при неподвижной обороне, создавая нечто вроде Китайской стены, или линии Мажино, которая должна сплошь прикрывать пространство, считающееся запретным для дезинформации. Необходимо, чтобы дезинформация существовала, чтобы она оставалась текучей и могла проникать повсюду. Там, где дискурс спектакля не подвергается нападению, было бы глупо его защищать, и само понятие дезинформации чрезвычайно быстро истрепалось бы, если бы его, вопреки очевидности, защищали в точках, которые, наоборот, должны были бы избегать привлечения внимания. Более того, у властей нет ни малейшей реальной потребности в том, чтобы обеспечивать для всех точную информацию, не содержащую дезинформации. Средств у них для этого тоже нет, ибо их не слишком уважают, и они бы только и делали, что вызывали подозрение насчет приводимой информации. Понятие дезинформации

хорошо лишь в контратате. И его нужно держать во втором эшелоне, чтобы затем мгновенно выпускать вперед, отрицая всякую только что возникшую истину.

Если иногда хаотическая дезинформация может появиться на службе некоторых частных интересов, временно находящихся в конфликте, и быть достаточно грубой, она становится неконтролируемой и тем самым противопоставляет себя работе системы не столь безответственной дезинформации, – тогда нет оснований опасаться, что в первую окажутся вовлеченными иные, более сведущие или более изощренные манипуляторы, – это происходит потому, что дезинформация сегодня разворачивается *в мире, где больше нет места ни для какой верификации*.

Поддерживающее путаницу в умах понятие дезинформации выдвигается на видное место, чтобы тут же одним произнесением своего имени отвергать любую критику, которая не оказалась достаточной для того, чтобы принудить к исчезновению различные управления по организации умалчивания. Например, можно было бы однажды заявить, если бы это показалось желательным, что все здесь написанное служит делу дезинформации о спектакле, или, иными словами, дезинформацией в ущерб демократии.

В противоположность тому, что утверждает ее перевернутое в спектакле отображение, практика дезинформации может служить государству лишь здесь и теперь, под его непосредственным руководством или по инициативе тех, кто защищает одни и те же ценности. На самом деле, дезинформация существует внутри всякой существующей информации и выступает как ее основная характеристика. И ее объявляют дезинформацией лишь там, где посредством запугивания нужно поддерживать пассивность. Там, где дезинформация *поименована*, ее не существует. Там, где она существует, ее не называют *дезинформацией*.

Тогда, когда борющиеся идеологии, что объявляли себя выступающими за или против известных аспектов действительности, еще сталкивались, имелись фанатики и лжецы, но “дезинформаторов” не было.

Тогда же, когда, из уважения к зрелищному консенсусу или, по крайней мере, из мелкого зрелищного тщеславия, больше не позволено говорить правду о том, чему противятся или на что дают согласие со всеми его последствиями; но и там, где зачастую сталкиваются с обязательствами скрывать одну сторону, которая по каким-то причинам

считается опасной в том, что предположительно необходимо принять, и практикуют дезинформацию, будто бы из необдуманности, или как бы по забывчивости, или из-за мнимо ошибочных соображений. Например, в сфере протеста против существующего строя после 1968 года неспособные восстановители порядка, так называемые “pro-situs”, были *первыми дезинформаторами*, потому что они, по мере возможности, скрывали практические проявления, где утверждалась критика, которую, как они сами хотели верить, они принимали; впрочем, вовсе не беспокоясь об ослаблении впечатления, они никогда ничего и никого не цитировали, делая вид, что обнаружили что-то сами.

## XVII

Уже в 1967 году, обращившая знаменитую формулу Гегеля, я отмечал, что «в мире, действительно обращенном, истинное является моментом ложного». Прошедшие с тех пор годы продемонстрировали прогресс этого принципа в каждой отдельной области без исключения.

Например, в эпоху, когда больше не может существовать современное искусство, становится трудно судить о классическом искусстве. Здесь, как и в других сферах, невежество производится только ради того, чтобы его эксплуатировать. В то самое время, как разом утрачиваются и чувство вкуса, и ощущение истории, организуются сети фальсификации. Вполне достаточно содержать армию экспертов и аукционных оценщиков, и тогда будет очень просто выдавать все что угодно за что угодно, потому что в делах такого рода, так же как в конечном счете и в остальных, подлинность любой ценности устанавливается посредством продажи. В соответствии с этим именно коллекционеры или музеи, в особенности американские, доверху набитые подделками, будут заинтересованы в том, чтобы поддерживать свою хорошую репутацию, аналогично тому, как Международный Валютный Фонд поддерживает фикцию позитивной стоимости огромных долгов сотен государств.

Подделка формирует вкус и поддерживает имитацию, намеренно вызывая исчезновение любой возможности соотнесения с подлинником. Раз уж это стало возможным, *переделывают* даже подлинное, чтобы оно напоминало подделку. Американцы, будучи самой богатой и самой современной нацией, оказались главными жертвами в этой торговле подделками произведений искусства. И именно они финансируют работы по реставрации Версаля или Сикстинской капеллы. Вот почему фрески Микеланджело теперь должны бу-

дут приобрести оживленные цвета из мультфильма, а подлинная мебель Версаля обрести столь живой блеск позолоты, что скорее будет напоминать поддельную меблировку эпохи Людовика XIV, за большие деньги импортированную в Техас.

Суждения Фейербаха о том, что его время предпочитало “образ – вещи, копию – оригиналу, представление – реальности”, полностью подтвердилось эпохой спектакля, причем во многих областях, в которых XIX век еще хотел оставаться в стороне от того, что было заложено в его глубинной природе, – от капиталистического промышленного производства. Так, например, буржуазия многое сделала для распространения строгого духа музея, подлинного предмета, конкретной исторической критики, аутентичного документа. Но сегодня поддельное повсюду стремится заменить истинное. В этой связи оказывается весьма кстати, что загрязнение воздуха автомобильным транспортом вынуждает заменять пластиковыми копиями лошадей в Марли или римские статуи с порталов Св. Трофима. В итоге все это будет еще красивее, чем прежде, и более подходящим для туристских фотографий.

Несомненно, кульминационным пунктом здесь является смехотворная китайская бюрократическая подделка огромных статуй гигантской *промышленной армии* Первого императора, когда столько путешествующих государственных мужей было приглашено полюбоваться на них *in situ*. Следовательно, раз уж над ними столь жестоко посмеялись, все это свидетельствует о том, что никто среди массы советников не располагал ни одним человеком, знавшим историю искусства в Китае или за его пределами. Впрочем, известно, что программа их обучения была совершенно иной: «Компьютер Вашего Величества не был об этом проинформирован». Все это констатация того, что теперь впервые можно управлять без всяких художественных знаний и без малейшего ощущения подлинного или невозможного, которого, одного, оказалось бы достаточно, чтобы догадаться, что все эти наивные простофили от экономики и менеджмента, вероятно, приведут мир к какой-то огромной катастрофе, если их действительная практика им уже этого не продемонстрировала.

## XVIII

Наше общество строится на тайне, начиная с “обществ-экранов”, оберегающих от всякого света сосредоточенные блага собственников, и заканчивая “защитой тайны”, которая покрывает сегодня огромную область полной свободы, неподсудной государству, – начи-

ная с тайн, зачастую ужасных, *фабрикации нищеты*, скрывающихся за сферой публичности, и заканчивая проекциями вариантов экстраполируемого будущего, господство над которыми разбирает только наиболее вероятные подходы к тому, что, по его утверждению, вовсе никоим образом не существует, – просто перебирая разные варианты ответов, которые оно чудесным образом принесет. По этому поводу можно сделать некоторые наблюдения.

Всегда существует очень большое число мест, как в больших городах, так и в некоторых заповедных пространствах сельской местности, которые являются недоступными, то есть охраняемыми и во всех отношениях защищаемыми; места эти располагаются вне досягаемости невинного любопытства и надежно укрыты от шпионажа. Не будучи в собственном смысле военизированными, они на военный манер располагаются за пределами всякой возможности контроля со стороны жителей, прохожих или даже полиции, уже давно уразумевшей, что ее функции оказались сведенными только к надзору и к подавлению самых банальных правонарушений. Именно потому, например, когда в Италии Альдо Моро оказался пленником “Potere Due”, его содержали не в здании, более или менее трудно находимом, но просто-напросто в здании, в которое трудно было проникнуть.

Всегда существует большое число людей, обученных тайным действиям, натренированных и проинструктированных только для этого. Это, во-первых, особые подразделения людей, вооруженных секретными архивами, то есть секретными наблюдениями и анализами. Во-вторых, это группы людей, вооруженных различными технологиями для извлечения выгоды и манипулирования этими тайными делами. И, наконец, третьи: когда речь заходит о действующих подразделениях этих групп, они равным образом могут быть оснащены иными возможностями упрощения рассматриваемых проблем.

Пока эти люди, специализирующиеся на наблюдении и влиянии, получают в свое распоряжение все большие средства, они с каждым годом встречают все более благоприятные обстоятельства для своей деятельности. Например, когда новые условия общественной включенной театрализации вынудили, по существу, всякую направленную против него критику превратиться в подпольную. Не потому, что она сама вынуждена скрываться, но потому, что ее скрывает давящая мизансцена развлекающей мысли тех, в чьи обязанности, однако, входит надзор за этой критикой и по необходимости ее опровержение, эти люди, в конце концов, получили возможность использовать против нее традиционные приемы, выработанные в подпольной сре-

де: провокацию, проникновение, а также различные формы вытеснения подлинной критики ради критики поддельной, которая вследствие этого сможет занять ее место. Неопределенность возрастает по любому поводу, когда общая лживость спектакля обогащается возможностью прибегать к тысяче частных обманов. О необъяснимом преступлении может говориться как о самоубийстве, как в тюрьме, так и на воле, а нарушение логики допускает расследования и судебные процессы, которые прямо граничат с бредом и часто с самого начала фальсифицируются при помощи неправомерных аутопсий, практикуемых независимыми экспертами.

Уже давно все привыкли наблюдать, как повсюду наскоро проводятся казни над разного рода людьми. Известные террористы, или те, кого таковыми считают, открыто уничтожаются явно террористическим образом. Моссад издала убивает членов Абу Джихада, английская САС – ирландцев, или параллельная полиция ГАЛ – басков. Те, чье убийство заказывают предполагаемым террористам, сами избираются не без основания, но, в общем-то, невозможно быть уверенным, что эти основания известны. Можно знать, что вокзал в Болонье был взорван ради того, чтобы Италия продолжала быть хорошо управляемой, и то, что такое “эскадроны смерти” в Бразилии, и то, что мафия может поджечь отель в Соединенных Штатах, чтобы поддержать *рэкет*. Но как узнать, чему по существу могли служить “безумные брабантские убийцы”? Ведь трудно применять принцип “*Cui prodest?*” в мире, где столько действующих интересов столь хорошо сокрыты. Выходит, под покровом интегрированной театрализации люди живут и умирают в точке пересечения огромного числа тайн.

Полицейско-информационные слухи в одно мгновение или, что еще хуже, после трех- или четырехкратного повторения наделяются неоспоримой весомостью вековых исторических доказательств. Сообразно сказочной власти сегодняшнего спектакля, исчезнувшие без звука странные персонажи появляются вновь, подобно призракам, чье возвращение всегда сможет быть вычислено, воскрешено в памяти и *доказано* через самое простое “говорят” специалистов. Эти мертвецы, что не были по всем правилам захоронены спектаклем, находятся где-то между Ахероном и Летой, где им полагается спать в ожидании того, что их соблаговолит разбудить: и вновь сошедшего с гор террориста, и вернувшегося с моря пирата, и вора, у которого больше нет потребности воровать.

Итак, повсюду организуется неопределенность. Очень часто защита господства проводится путем *ложных атак*, чья трактовка в сред-

ствах массовой информации заставит потерять из виду саму операцию: таков странный переворот Техеро и его штатской охраны в Кортесах в 1981 году, чье поражение должно было скрыть другой *pronunciamento* – *государственный переворот*, более современный, то есть замаскированный, а он-то и имел успех. В равной степени наблюдаемая неудача диверсии, организованной французскими спецслужбами в 1985 году в Новой Зеландии, все же может рассматриваться как военная хитрость, чье назначение, возможно, заключалось в том, чтобы отвлечь внимание от многочисленных новых ролей этих служб, заставляя уверовать в их карикатурную недееспособность как в выборе целей, так и в способах исполнения. И тем более вероятно, что то, что почти повсюду было расценено как геологическая разведка нефтяных месторождений в недрах *города Парижа*, шумно проводившаяся осенью 1986 года, не имело иных серьезных намерений, кроме установления точки, до которой могли прийти отупение и степень покорности жителей, – демонстрируя им так называемые изыскания, в экономическом плане абсолютно безумные.

Власть стала до того загадочной, что после дела о нелегальных поставках оружия Ирану через администрацию президента Соединенных Штатов можно спросить себя, кто же по-настоящему управляет Соединенными Штатами – самой сильной державой мира, называемого демократическим? И стало быть – что за черт командует этим демократическим миром?

На более глубоком уровне в этом мире, формально столь исполненном уважения ко всякого рода экономическим потребностям, никто никогда не знает, сколько по-настоящему стоит любая произведенная вещь, ибо на самом деле важнейшая часть реальной цены *никогда не подсчитывается, а остаток держится в тайне.*

## XIX

Генерал Норьега ненадолго прославил себя по всему миру в начале 1988 года. Он был необъявленным диктатором Панама – страны, не имеющей армии, где он командовал Национальной гвардией. Ибо на самом деле Панама не представляет собой суверенного государства – она была выкопана ради своего канала, а не наоборот. Ее валюта – доллар, и настоящая армия, расквартированная в ней, также является иностранной. А следовательно, Норьега сделал всю свою карьеру в этом пункте, полностью совпадающую с карьерой Ярузельского в Польше, как полицейский генерал на службе оккупационной власти.



Он был импортером наркотиков в Соединенные Штаты, ибо сама Панама не приносила достаточных доходов, и экспортировал в Швейцарию свои “панамские” капиталы. Он сотрудничал с ЦРУ против Кубы, и чтобы иметь адекватное прикрытие для своей экономической деятельности, он также выдавал столь одержимым этой проблемой американским властям определенное число своих соперников по импорту наркотиков. Его главным советником по вопросам безопасности, вызывавшим ревность у Вашингтона, и превосходившим всех на этом рынке, являлся Микаел Харари, бывший офицер Моссад – секретной службы Израиля. Когда же американцы захотели отделаться от сего персонажа, поскольку некоторые из их судебных учреждений его неосмотрительно осудили, и Норьега из панамского патриотизма объявил, что готов защищаться в течение тысячи лет сразу и против собственного восставшего народа, и против иностранцев, то он тут же получил публичную поддержку более суровых бюрократических диктаторов Кубы и Никарагуа – на этот раз во имя антиимпериалистической борьбы.

Далеко не представляя собою странность Панамского перешейка, этот генерал Норьега, *торгующий всем, чем угодно, и симулирующий все, что угодно*, в мире, который повсюду делает то же самое, насквозь, и как тип человека определенного рода государства, и как тип генерала, и как капиталист, был в высшей степени показательной фигурой для эпохи включенной театрализации; равно как и результаты, которые он признавал законными в самых разнообразных направлениях своей внутренней и внешней политики. Это образец *государя нашего времени*, и самые способные среди тех, кому было назначено прийти и остаться у власти, где бы это ни происходило, – весьма его напоминают. Не Панама, а наша эпоха производит подобные чудеса.

XX

Для любой разведывательной службы, что в этом пункте полностью соответствует теории войны Клаузевица, *знание должно стать властью*. Отсюда эта служба извлекает ныне свой престиж, своего рода особую поэзию. При том, что интеллект был абсолютно изгнан из спектакля, который не позволяет действовать и не говорит хоть что-то правдивое о действиях других, он, кажется, почти что нашел прибежище среди тех, кто анализирует различные аспекты действительности и тайно на них воздействует. Недавние разоблачения, для удешевления которых Маргарет Тэтчер сделала все, хотя и напрасно, ибо таким образом только удостоверила их подлинность, продемонстри-

ровали, что в Англии эти службы уже способны вызвать падение кабинета министров, чью политику они расценивали как опасную. Итак, общее презрение к спектаклю по совершенно новым причинам возрождает влечение к тому, что во времена Киплинга могло называться “большой игрой”.

“Полицейская концепция истории” была в XIX веке реакционным и смехотворным ее истолкованием в эпоху, когда множество мощных социальных движений будоражило массы. Сегодняшние псевдопротестующие хорошо знают об этом по слухам или по нескольким книжкам и полагают, что это положение остается истинным на все времена, совсем не желая замечать реальную практику собственного времени, потому что она слишком плачевна для их сдержанных упований. Государству это известно, и оно на этом спекулирует.

В пору, когда почти все аспекты международной политической жизни и возрастающее число аспектов, относящихся к политике внутренней, управляются и показываются в стиле секретных служб, с их ловушками, дезинформацией, двойными стандартами объяснения — объяснения, которое *может* скрывать в себе какое-то иное объяснение или только делать вид, что скрывает его, — спектакль ограничивается тем, что знакомит мир, уставший от принудительной непонятности, со скучнейшей серией детективных романов, безжизненных и всегда лишенных развязки. Как раз поэтому-то реалистическая мизансцена ночного боя негров в туннеле должна прослыть за достаточно драматическую побудительную причину действия.

Слабоумие полагает, что все ясно, когда телевидение продемонстрировало прекрасный образ и прокомментировало его наглой ложью. Полуэлита довольствуется тем знанием, что почти все является темным, амбивалентным, “смонтированным” в соответствии с неизвестными кодами. Элита же более замкнутая хотела бы знать правду, которую очень нелегко установить в каждом индивидуальном случае, вопреки всевозможным закрытым данным и секретным сведениям, какими она может располагать. Вот почему ей так хотелось бы познать истинный метод, хотя и для нее эта несчастная любовь по-прежнему остается безответной.

## XXI

Над этим миром господствует тайна, и прежде всего как тайна господства. Сообразно спектаклю, тайна является лишь необходимым исключением из правил информации, в изобилии предлагающейся на всей поверхности общества, подобно тому, как и господство вклю-

ченной театрализации в “свободном мире” якобы свелось лишь к некоему исполнительному департаменту на службе у демократии. Но в спектакль никто по-настоящему не верит. Каким образом зрители принимают существование тайны, которая одна гарантирует то, что они не могут управлять миром, чьих основных реалий они не ведают; каким поистине удивительнейшим образом у них спрашивают их мнение, как если бы они принимали в этом участие? Но дело в том, что тайна почти ни перед кем не предстает в своей недоступной чистоте и функциональной обобщенности. Все принимают то, что неизбежно существует небольшая зона тайны, зарезервированная за специалистами, и в отношении общей ситуации многие люди верят, что *существуют внутри тайны*.

Ла Бозси в *Рассуждении о добровольном рабстве* показал, как власть тирана должна сталкиваться с многочисленными видами поддержки среди индивидов, расположенных концентрическими кругами, которые находят, или только думают, что находят, в ней выгоду. И аналогично этому множеству людей среди политиков или представителей средств массовой информации угождают, уверяя, что нельзя и подозревать их в *безответственности*, а между тем они знают о многом посредством конфиденциальных каналов и личных связей. Довольный тем, что находится внутри канала секретных сообщений, не особенно склонен критиковать его или даже замечать, что во всех конфиденциальных сообщениях основная часть реальности всегда будет от него скрыта. Конечно, в силу благосклонного покровительства мошенников он знает немножко больше карт, хотя они могут быть и краплеными, однако никогда не знает метода управления игрой и ее объяснения. Следовательно, он тут же отождествляется с манипуляторами и начинает презирать неведение других, которое он, в сущности, разделяет. Ибо те крохи информации, что предлагаются этим свойственникам лживой тирании, как правило, оказываются зараженными ложью, не поддающимися проверке и подтасованными. Тем не менее они доставляют удовольствие тем, кто получает к ним доступ, ибо последние ощущают себя высшими существами по отношению к ничему не знающим. Кроме того, эти крохи годятся лишь для того, чтобы еще лучше обеспечивать господство, и совсем не способствуют его действительному пониманию. Они составляют привилегию *зрителей первого класса*: тех, кто имеет глупость полагать, будто они что-то понимают, не пользуясь тем, что от них скрывают, но *веруя тому, что им открывают!*

Господство мыслит трезво, по крайней мере, в том, что оно в скором времени ожидает от собственного свободного и ничем не обремененного управления достаточно большого числа катастроф первой величины – равно и в сфере экологии, например химии, и в сферах экономики, например в банковской. Оно уже в течение некоторого времени само поставило себя в ситуацию обсуждения этих необыкновенных бед не иначе как через привычное изощренное управление мягкой дезинформацией.

## XXII

Что же касается численно все возрастающих за последние два десятилетия предумышленных убийств, которые остаются полностью необъяснимыми – ибо, когда порою в жертву приносили нескольких статистов, ни разу даже речи не было о заказчиках, – их характер серийного производства обладает собственной маркой – клеймом откровенной и переменчивой лжи официальных заявлений: Кеннеди, Альдо Моро, Улоф Пальме, различные министры или финансисты, один или два Папы и многие другие, обладавшие большими достоинствами, чем указанные лица. Этот синдром недавно приобретенной социальной болезни быстро распространился почти повсюду, как будто, начиная с первых наблюдаемых случаев, он *спускался* с государственных верхов, традиционной сферы такого рода покушений, и в то же самое время *поднимался* со дна общества – другого традиционного места нелегального обмена и покровительства, где между профессионалами всегда разворачивались войны подобного рода. Эти практики стремятся к столкновению *в самом средоточии* социальных дел, как будто и в самом деле государство не погнушалось в них вмешаться, а мафии удалось до них “возвыситься”, чем и было произведено подобного рода сращение.

Все только и слышат о попытках объяснить этот новый вид парадоксов случайностями: некомпетентностью полиции, глупостью следователей, несвоевременными разоблачениями прессы, кризисом роста секретных служб, злонамеренностью свидетелей, профессиональными забастовками доносчиков. Однако уже Эдгар По обнаружил определенное направление поисков истины в своем знаменитом рассуждении в рассказе *Убийство на улице Морг*: «Мне кажется, что тайна считается неразрешимой по той же самой причине, по какой ее нужно было бы рассматривать как легкую для решения, – я хочу сказать о признаке чрезмерности, определяющем ее внешние проявления... В расследованиях такого рода, которыми занимаемся мы,

нужно не столько задаваться вопросом о том, как случились подобные вещи, сколько понимать, чем же они отличаются от всего, что происходило до сих пор».

### XXIII

В январе 1988 года колумбийская наркомафия опубликовала коммюнике, предназначенное для некоторого исправления общественного мнения, убежденного в том, что она якобы существует. Самое большое требование мафии, которое она могла бы представить, — это, разумеется, установить, что она не существует или что она явилась жертвой научно малообоснованной клеветы; и в этом главный пункт ее сходства с капитализмом. Но в данном случае эта мафия, раздраженная тем, что она солирует в качестве звезды, дошла до того, что захотела напомнить об иных группировках, которые хотели бы предать себя забвению, злонамеренно выдвигая ее на роль козла отпущения. Она заявляет: «Мы не принадлежим ни к бюрократической, ни к политической мафии, ни к мафии банкиров и финансистов, ни к мафии миллионеров, ни к мафии огромных подложных контрактов, ни к мафии монополий, ни к нефтяной мафии, ни к мафии гигантских компаний массовой коммуникации».

Можно, несомненно, полагать, что у авторов этого заявления, как и у всех остальных, был интерес влить собственные практики в гигантский мутный поток преступности и самых банальных беззаконий, орошающий современное общество во всей его совокупности, но также было бы правильно признать: вот перед нами люди, которые благодаря своей профессии лучше, чем другие, знают то, о чем говорят. В современном обществе Мафия повсюду находит благоприятную почву. Она растет столь же стремительно, как и другие продукты труда, при помощи которого общество включенной театрализации преобразует собственный мир. Мафия разрастается вместе с гигантским прогрессом вычислительной техники и промышленного производства продовольствия, вместе с полной перестройкой городов и трущобами-бидонвилями, вместе со спецслужбами и неграмотностью.

### XXIV

Когда мафия в начале века стала проявлять себя в Соединенных Штатах, она не была лишь архаикой, пересаженной вместе с эмиграцией сицилийских рабочих, ибо в тот же период на западном побережье начались бандитские войны между тайными китайскими обществами. Основанная на мракобесии и нищете, мафия тогда не могла прижиться даже на севере Италии. Казалось, она повсюду обречена ис-

чезнуть под натиском современного государства. Это была форма организованной преступности, которая могла процветать лишь под “покровительством” отсталых меньшинств за пределами городского мира, там, куда не мог проникнуть контроль рационального надзора полиции и буржуазных законов. Оборонительная тактика мафии всегда могла заключаться лишь в уничтожении свидетелей – для нейтрализации полиции и юстиции и создания в сфере собственной деятельности царства необходимой для нее тайны. Впоследствии же она нашла новое поле деятельности в *новом мракобесии* общества рассредоточенной театрализации, а затем и театрализации интегрированной, ибо с тотальной победой тайны, общим малодушием граждан, полной утратой логики, прогрессом повсеместной подлости и продажности соединились все благоприятные условия для того, чтобы она сделалась современной и агрессивной мощью.

Американский сухой закон – хороший пример претензий современных государств на авторитарный контроль над всем и результатов, которые из этого вытекают, – более чем на десятилетие передал организованной преступности управление торговлей алкоголем. Мафия, с этого времени обогатившаяся и вымуштрованная, связала себя с избирательной политикой, с аферами, с развитием рынка профессиональных убийц, с некоторыми тонкостями международной политики. К примеру, ее поощряло вашингтонское правительство в течение Второй мировой войны, когда она способствовала вторжению на Сицилию. Вновь легализованный алкоголь заменили наркотики, тогда представлявшие собой звездный товар незаконного потребления. Потом она приобрела значительную власть в сфере недвижимости, банков, большой политики и крупных государственных предприятий, а затем и в индустрии спектакля: на телевидении, в кино, в издательском деле. Это также справедливо, во всяком случае, в США даже для индустрии грампластинок, как и повсюду, где реклама продукта зависит от достаточно узкого числа людей. Следовательно, на них достаточно легко можно оказывать давление, подкупая или запугивая, если, очевидно, располагать достаточными капиталами или надежными покровителями, которых нельзя ни узнать, ни наказать. Следовательно, подкупом диск-жокеев можно предрешить то, чему предстоит пользоваться успехом среди товаров в равной степени бросовых.

Несомненно, именно в Италии мафия на обратном пути после своих американских завоеваний и приключений обрела наибольшую силу, ибо начиная с эпохи ее исторического компромисса с параллельным

правительством она оказалась в ситуации постоянных заказов на убийства следователей или шефов полиции – практики, inaugурировать которую она смогла своим участием в монтаже политического “терроризма”. Схожая эволюция японского эквивалента мафии в относительно независимых условиях прекрасно свидетельствует о единстве эпохи.

Каждый раз ошибаются, когда хотят что-либо объяснить, противопоставляя мафию и государство, ибо они никогда не находятся в соперничестве. Теория с легкостью подтверждает то, о чем слишком легко свидетельствовали всевозможные слухи из практической жизни. В этом мире мафия не чужая, она здесь совсем как дома. В эпоху включенной театрализации она, по существу, принимается за модель всех развитых коммерческих предприятий.

## XXV

Вместе с новыми условиями, которые в настоящее время преобладают в обществе, раздавленном *железной пятой* спектакля, например, становится понятным, почему политические убийства видятся в совершенно ином, как бы рассеянном, свете. Повсюду существует намного больше дураков, чем в прежние времена, но что неизмеримо удобнее – так это то, что с ними можно разговаривать *безумно*. И это не потому, что какой-то господствующий страх навязывает подобные объяснения в средствах массовой информации. Наоборот, именно спокойное существование таких объяснений и должно вызывать этот страх.

Когда в 1914 году, накануне неотвратимой войны, Виллэн убил Жореса, никто не сомневался в том, что Виллэн – личность, без сомнения достаточно неуравновешенная, – полагал, что должен убить Жореса потому, что, на взгляд глубоко повлиявших на Виллэна экстремистов правого патриотического крыла, Жорес казался несомненно вредоносным для обороны страны. Но только эти экстремисты недооценили огромную силу патриотического согласия внутри социалистической партии, которое бы незамедлительно подтолкнуло ее к “священному союзу”, вне зависимости от того, был ли Жорес убит или, наоборот, ему бы оставили возможность остаться непреклонным в интернационалистской позиции отрицания войны.

Сегодня же, ввиду подобного события, полицейские журналисты, известные эксперты “по общественным делам” и “терроризму”, сразу же сказали бы, что Виллэн был известен тем, что совершал неоднократные предварительные попытки убийства, каждый раз направ-

ленные на людей, которые могли исповедовать совершенно различные политические убеждения, но все случайно физическим сходством или одеждой напоминали Жореса. Психиатры бы это удостоверили, а *средства массовой информации*, всегда свидетельствующие лишь о том, что им уже сообщили, ссылались бы на сам факт их компетентности и беспристрастности как экспертов с *несравненными* авторитетом. Затем формальное полицейское расследование могло бы в скором времени установить, что, дескать, недавно нашли несколько достойных людей, готовых свидетельствовать о том обстоятельстве, что в их присутствии этот самый Виллэн, посчитав, будто его плохо обслужили в “Шоп дю круассан”, явно угрожал отомстить хозяину кафе тем, что уложит на месте перед всем честным народом одного из его самых лучших клиентов.

Излишне говорить, что в прошлом истина торжествовала везде и незамедлительно, ибо дело Виллэна было в конечном счете французской юстицией закрыто. Но был он расстрелян лишь в 1936 году, когда в Испании разразилась революция, ибо очень неосмотрительно решил пожить на Балеарских островах.

## XXVI

Именно поэтому новые условия прибыльного управления экономическими предприятиями в годы, когда государство берет на себя роль гегемона в ориентации производства, а спрос на все товары непосредственно зависит от централизации, осуществляемой в области возбуждающей спрос показной информации, к которой также должны адаптироваться и формы распределения, императивно требуют повсеместного создания сети влияния или тайных обществ. Следовательно, все это лишь естественный продукт движения концентрации капиталов, производства и распределения. Тот, кто об этом не беспокоится, должен исчезнуть, а предприятия могут сегодня расширяться лишь через цены, технологии и средства того, чем являются ныне индустрия, спектакль, государство. Это, в конечном счете, и есть тот особый путь развития, который выбрала экономика нашего времени, и приводит он к тому, что повсюду навязывается *формирование новых личных отношений зависимости и протекционизма*.

Как раз на этом положении основывается глубокая истинность столь хорошо понятой по всей Италии формулировки сицилийской мафии: «Если есть друзья и деньги – плевать на правосудие». Внутри включенной театрализации *законы спят* и потому, что их не приспособили к новым технологиям производства, и потому, что их перевернули



в системе распределения через различные соглашения нового типа. Мысли или предпочтения публики больше не имеют значения. Вот что скрывается спектаклем за столькими опросами общественного мнения, выборами, модернизирующими перестройками. Кто бы от этого ни выиграл, любезной клиентурой *будет превозноситься наилучшее* – ведь как раз это и будет произведенным ради нее.

Сейчас только и говорят что о “правовом государстве”, в пору, когда современное, так называемое демократическое государство вообще перестало быть таковым, – и вовсе не случайно, что это выражение получило популярность лишь несколько позже 1970 года и прежде всего именно в Италии. Во многих областях даже законы составляются *для того, чтобы их могли обойти* те, у кого есть для этого все средства. Незаконность в определенных обстоятельствах, например в отношении мировой торговли разного рода вооружениями, а еще чаще – в отношении продуктов высочайших технологий, служит лишь дополнительным резервом экономических манипуляций, которые оказываются из-за этого еще более рентабельными. Сегодня многие сделки по необходимости являются *бесчестными, подобно самой эпохе*, в отличие от прежних времен, когда бесчестными были все-таки те люди, кто в четко очерченных пределах выбирал бесчестные пути и пользовался ими.

По мере того как разрастаются сети стимулирования и контроля для распределения и удержания эксплуатируемых секторов рынка, также увеличивается количество личных услуг, в которых нельзя отказать тем, кто находится в курсе дела, и, конечно же, тем, от чьей помощи нельзя отказаться, а это далеко не всегда полицейские или стражи интересов и безопасности государства. Формы функционального соучастия передаются на дальние расстояния и устанавливаются на весьма продолжительное время, ибо его сети располагают всевозможными средствами навязывать те чувства признательности или верности, которые, к несчастью, всегда были столь редкими в среде свободного предпринимательства буржуазных эпох.

У своего противника всегда чему-нибудь да научишься. Надо полагать, что государственным мужам также пришлось читать заметки молодого Лукача о понятиях *законности* и *незаконности* в то время, когда им необходимо было объяснить эфемерное прохождение нового поколения отрицания – ведь Гомер сказал, что «людское поколение уходит так же скоро, как облетает листва на деревьях». С тех пор государственные мужи, подобно нам, могли перестать стесняться

первой попавшейся идеологии по этому вопросу, и верно, что практики театрализованного общества больше не благоприятствовали идеологическим иллюзиям подобного рода. Относительно всех нас можно сделать вывод, что в конечном счете нам часто мешало замкнуться в одной лишь нелегальной деятельности то, что мы и так практиковали множество ее видов.

## XXVII

Фукидид в главе 66 восьмой книги *Пелопонесской войны* сказал по поводу операций другого олигархического сговора, который имеет большое сходство с ситуацией, в которой оказались мы сами: «Выступавшие ораторы были людьми из их среды и к тому же предварительно наученные тому, что им следует говорить. Никто из прочих граждан не осмеливался им возражать из страха перед многочисленностью заговорщиков. А вздумай кто на самом деле противоречить им, то мог быть уверен, что при первой возможности заговорщики найдут способ устранить его. Убийц не разыскивали и подозреваемых не привлекали к суду. Народ хранил молчание, и люди были так запуганы, что каждый считал уже за счастье, если избежал насилия (хотя и соблюдал молчание). Сильно преувеличивая действительную численность заговорщиков, афиняне стали падать духом. Точно выяснить истинное положение граждане не могли, потому что жили в большом городе и недостаточно знали друг друга. По этой же причине человек не мог найти ни у кого защиты от заговорщиков, так как не мог поверить свое горе или возмущение другому. Ведь при этом пришлось бы довериться человеку неизвестному или хотя и известному, но ненадежному. Сторонники демократической партии при встрече не доверяли друг другу: всякий подозревал другого в том, что тот участвует в творимых бесчинствах. Действительно, были среди демократов и такие, о ком никто бы не подумал, что они могут примкнуть к олигархам. Эти-то люди главным образом и возбуждали недоверие и подозрительность народа, что было на руку олигархам».

Если после подобного затмения истории все-таки предстоит к нам вернуться – что зависит и от по-прежнему борющихся сил, а стало быть, от исхода этой борьбы, в которой ничего с определенностью нельзя исключить, – то эти «Комментарии» смогут послужить тому, чтобы однажды написать историю спектакля, вероятно, наиболее значительного события, происшедшего в нынешнем веке, к тому же события, которое наименее всего отваживались объяснять. Я полагаю, что в других обстоятельствах мог бы считать себя полностью

удовлетворенным тем, что написал первую работу по этой теме, и предоставить другим заботу разбираться с последствиями. Но в ситуации, в которую мы попали, мне кажется, что никто другой ни в чем разбираться не стал бы.

## XXVIII

От сетей стимулирования-контроля неощутимо приходят к сетям надзора-дезинформации. В прежние времена заговор составлялся всегда только против существующего режима. Сегодня *вступать в тайные сговоры в его пользу* – это новое, находящееся на подъеме ремесло. Под покровом господства спектакля замышляются заговоры ради его поддержки и ради обеспечения того, что только он сам может назвать своей бесперебойной работой. Эти интриги являются частью самого его функционирования.

Уже началось размещение некоторых средств своего рода превентивной гражданской войны, приспособленных к различным вариантам просчитываемого будущего. Это “особые организации”, облеченные обязанностью вмешиваться в определенные точки в соответствии с потребностями включенной театрализации. Так, удалось предсказать, как худшую из возможностей, тактику, в шутку названную «Три культуры», в напоминание о площади в Мехико летом 1968 года, но на этот раз без особых деликатностей, и к тому же она должна была применяться до дня восстания. И за исключением столь крайних случаев, нераскрытому убийству вовсе не обязательно затрагивать многих людей или повторяться достаточно часто, чтобы стать подходящим средством управления, ибо сам факт, что кое-кто знает о существовании такой возможности, тут же усложняет расчеты в массе областей. И теперь здесь нет потребности быть разумно избирательным *ad hominem*. Употребление этого приема исключительно наобум может оказаться более продуктивным.

Сегодня также возникла ситуация, когда надо составлять из обломков социальную критику для взращивания смены, что уже нельзя поручать кадрам из университетов или из масс-медиа, которых отныне лучше держать в отдалении от слишком традиционных видов вранья по этому поводу; надо использовать критику более совершенную, выдвигаемую и используемую новыми способами, манипулируемую гораздо лучше подготовленными профессионалами иного рода. Достаточно конфиденциальным образом начинают появляться ясные тексты, анонимные или подписанные неизвестными (впрочем, это тактика, облегченная концентрацией всезнайства у шутов спек-

такля, приведшая к тому, что люди неизвестные как раз и кажутся наиболее уважаемыми), не только на темы, которые никогда не затрагивались в спектакле, но к тому же еще и с аргументами, чья справедливость оказывается еще поразительнее в силу определенного рода рассчитанной оригинальности, свойственной им благодаря тому, что, в общем-то, они *никогда не употреблялись, хотя были достаточно очевидными*. Эта практика, по крайней мере, может служить в качестве первой степени посвящения для вербовки слегка пробудившихся душ, которым лишь позже сообщат большую дозу возможных последствий, и то если они покажутся подходящими. А то, что для одних будет первым шагом возможной карьеры, окажется для других – не принадлежащих ко столь благополучным слоям – первым шагом в западню, куда они попадутся.

В определенных случаях речь идет о том, чтобы по вопросам, которые представляют опасность стать жгучими, создать иное критическое псевдомнение, и среди двух возникших таким образом мнений, одинаково чуждых убогим условностям спектакля, наивное суждение будет колебаться бесконечно долго, а само обсуждение их взвешенности отбросит их при первом удобном случае. Чаще всего речь идет об общем рассуждении о том, что скрывают масс-медиа, и оно может оказаться весьма критическим, а в некоторых положениях явно разумным, но притом останется любопытным образом децентрированным. Как будто темы и слова выбирались искусственно, в помощь компьютерам, набитым сведениями для критического мышления. В этих текстах всегда имеется несколько достаточно мало заметных, но все-таки примечательных пробелов – точка схождения взглядов здесь всегда аномально отсутствует. Они напоминают *факсимильную* репродукцию знаменитого оружия, где не хватает только взрывателя. Это по необходимости *окольная критика*, которая наблюдает многие вещи весьма ясно и точно, но при этом помещая себя в стороне. И это не потому, что она будто бы стремится к какой-то беспристрастности, ибо, наоборот, ей необходимо делать вид, будто она многое осуждает, но никогда не ощущает потребности показать, какова ее *движущая причина*, и, следовательно, даже неявно сказать, откуда она исходит и к чему бы она хотела прийти.

К этому виду ложной антижурналистской критики может присоединиться организованная практика распространения *слухов*, о которой известно, что она изначально существует как вид дикой расплаты информационных средств спектакля за то, что все, по крайней мере, смутно ощущают их обманной характер, а следовательно, и то, сколь

мало доверия они заслуживают. Слухи изначально были суеверными, наивными, самоотравляющими. В более недавнее время система всеобщего надзора начала внедрять среди населения людей, способных по первому сигналу распространять слухи, которые могли бы ей подходить. Здесь решили применить на практике результаты наблюдений теории, сформулированной почти тридцать лет назад и происходящей из американской социологии общественного мнения, — теории индивидов, которых можно назвать “локомотивами”, то есть тех, кому другие из их окружения будут склонны следовать и подражать, но на этот раз переходя от спонтанности к вымуштрованности. Таким образом в нашу эпоху высвобождают бюджетные или внебюджетные средства, направленные на поддержание многочисленного вспомогательного персонала, — наряду со специалистами предшествующих времен из университетов или масс-медиа, как и социологами или детективами недавнего прошлого. Мнение о том, будто до сих пор механически применяются какие-то из известных в прошлом моделей, ведет к заблуждению так же, как и общее неведение прошлого. “Рима нет теперь в Риме”, а Мафия уже не подонки общества. И услуги по надзору и дезинформации столь же мало напоминают работу прежних “фараонов” и осведомителей, например работу шпионов и стукачей Второй империи, как современные спецслужбы во всех странах мало похожи на деятельность Второго отдела Генштаба армии в 1914 году.

С тех пор, как умерло искусство, известно, как невероятно легко стало переодевать полицейских в художников. Когда современным подражаниям вывернутого наизнанку неодадаизма дозволяется напыщенно вещать в средствах массовой информации, а стало быть, еще и немного видоизменять декор официальных дворцов, подобно одетым в лохмотья королевским шутам, то ясно, что одно и то же развитие культурного прикрытия обеспечивается всеми агентами и дополнительным персоналом сетей государственного влияния. Открываются пустые псевдомузеи или исследовательские псевдоцентры, изучающие весь творческий путь несуществующего персонажа так же споро, как составляются репутации журналистов-полицейских, историков-полицейских или романистов-полицейских. Артюр Краван, без сомнения, предвидел пришествие этого мира, когда писал в «Maintenant»: «На улице скоро уже не встретишь никого, кроме художников, и нужно будет потратить все мыслимые силы, чтобы найти там человека». Таков же и обновленный смысл старой шутки парижских хулиганов: «Привет, артисты! Тем хуже, если я ошибаюсь».

Когда вещи стали, наконец, тем, что они есть на самом деле, можно заметить несколько коллективных авторов, пользующихся самым современным издательством, то есть издательством, которое обеспечило себе наилучшее коммерческое распространение. Поскольку подлинность их псевдонимов гарантируется только газетами, они передают их друг другу, сменяют друг друга, сотрудничают с противниками и снова вербуют искусственные мозги. На них возложена обязанность выражать стиль жизни и мировоззрение эпохи, но не в силу их личностей, а в приказном порядке. Те, кто верит, что они по-настоящему являются индивидуальными и независимыми литературными антрепренерами, вполне могут дойти до того, что с ученым видом будут уверять, будто теперь Дюкасс поссорился с графом Лотреамоном, что Дюма – это вовсе не Макэ, что особенно нельзя путать Эркмана с Шатрианом и что Сансье и Добантон больше друг с другом не разговаривают. Точнее говоря, такого рода современные авторы захотели следовать Рембо, по крайней мере, в том, что «Я – это другой».

Секретные службы всей историей театрализованного общества были призваны играть в нем роль основного посредника, ибо в них в наиболее высокой степени концентрируются характерные черты и исполнительные механизмы такого общества. К тому же на них всегда возлагается еще и обязанность разрешать споры между основными интересами этого общества, хотя бы в скромном качестве «услуг». О злоупотреблениях речи не идет совсем, поскольку они верно отражают заурядные нравы века спектакля. И именно так надзиратели и поднадзорные вливаются в некий безбрежный океан. Спектакль способствует триумфу тайны, и ее должно всегда быть больше в руках *специалистов по тайне*, которые, разумеется, не все являются чиновниками, стремящимися к тому, чтобы в различной степени приобрести независимость от государственного контроля, – не все они чиновники.

## XXIX

Один из общих законов функционирования включенной театрализации, по крайней мере для осуществляющих руководство над ней, состоит в том, что в этих рамках *все, что можно сделать, следует делать*. Иными словами, всякое новое орудие должно использоваться, сколько бы оно ни стоило. Новый набор орудий повсюду становится целью и движущей силой системы и будет единственной причиной, которая сможет заметно видоизменять ее движение всякий

раз, когда ее применение будет навязываться безо всяких мыслей. Хозяева общества, на самом деле, хотят, прежде всего, сохранить определенные “социальные отношения между личностями”, но для этого им также нужно продолжать непрерывное технологическое обновление, ибо такова была одна из обязанностей, полученная ими вместе с их наследием. Следовательно, этот закон в равной степени применяется и к службам, которые защищают его господство. Наведенное на цель орудие надо использовать, и его использование усилит те самые условия, что благоприятствовали этому использованию. Именно так чрезвычайные приемы становятся повседневными процедурами.

Сплоченность общества спектакля определенным образом подтвердила правоту революционеров, поскольку стало ясно, что в нем нельзя реформировать ни малейшей детали, не разрушая всей системы. Но в то же время эта сплоченность и упразднила любые организованные революционные устремления, ликвидировав общественные сферы, где они более или менее могли выражаться: от профсоюзного движения до газет, от городов до книг. Одним и тем же движением оказалось возможным высветить те некомпетентность и недомыслие, носителем которых совершенно естественно стали подобные устремления. А в плане индивидуальном царящая сплоченность вполне способна отсеять или подкупить некоторые случайные исключения.

### XXX

Надзор мог бы оказаться гораздо опаснее, если бы на пути к абсолютному контролю над всеми его не довели до точки, где он столкнулся с трудностями, происходящими из его собственного прогресса. Существует противоречие между массой различных видов информации, состоящих в ведении возрастающего количества индивидов, и имеющимися в наличии временем и умственными способностями для ее анализа или просто их возможной заинтересованностью в таком анализе. Избыточность материала требует сокращать его на каждом этапе, и потому многое из него исчезает, а остающееся все-таки остается слишком объемистым, чтобы его прочитали. Руководство надзором и манипуляциями не является упорядоченным. В самом деле, повсюду идет борьба за распределение доходов, а стало быть, также и за приоритетность развития той или иной виртуальности существующего общества в ущерб всем другим виртуальностям, а между тем, если все они состоят из одного теста, они признаются в равной степени достойными.

*Борьба также происходит через игру.* Каждый служащий, ведущий переговоры, склонен переоценивать собственных агентов, а также агентов противников, которыми он занимается. Каждая страна, не говоря уже о многочисленных надгосударственных союзах, обладает в настоящее время неопределенным количеством полицейских или контрразведывательных служб, а также служб секретных, государственных или околосударственных. Существует также много частных компаний, занимающихся наблюдением, охраной и сбором информации. Огромные транснациональные корпорации, естественно, имеют собственные службы, но они есть и у государственных предприятий даже самого скромного пошиба, тем не менее проводящих в этом свою независимую политику в государственном, а иногда и в межгосударственном масштабе. Можно наблюдать, как группа корпораций из атомной промышленности противопоставляет себя нефтяной группировке, хотя обе являются собственностью одного и того же государства и, более того, они диалектически едины в их приверженности вопросу о поддержании высокого курса цен на нефть на мировом рынке. Каждая служба безопасности одной отдельной отрасли промышленности борется с вредительством у себя и имеет потребность организовывать его у соперника, ибо тот, кто помещает большие капиталы в строительство подводного туннеля, благосклонно относится к ненадежности самоходных железнодорожных паромов и может ничтоже сумняшеся подкупать испытывающие финансовые трудности газеты, чтобы вызвать саботаж при первом удобном случае и без особых раздумий, а тем, кто конкурирует с фирмой “Сандоз”, нет дела до горизонта грунтовых вод Рейнской долины. Тайно надзирают за тем, что окутано тайной. Выходит, что каждый из этих организмов, с неимоверной гибкостью объединяющихся вокруг тех органов, на кого возложена обязанность блюсти государственные интересы, желает для самого себя определенного рода гегемонии, по сути лишенной смысла. Ибо смысл потерян вместе с познаваемым центром.

Современному обществу, которое вплоть до 1968 года шло от победы к победе и было убеждено, что его любят, пришлось с тех пор отказаться от этих грез; теперь оно предпочитает, чтобы его боялись. Оно хорошо знает, что “его невинный облик больше к нему не вернется”.

Итак, тысячи заговоров в пользу установленного порядка почти повсюду переплетаются и борются между собой, с непрерывно нарастающим взаимопроникновением сетей, проблем или тайных дей-



ствий, и процесс их стремительной интеграции происходит в каждой отрасли экономики, политики и культуры. Процентное содержание обозревателей, дезинформаторов, спецпредприятий в смеси непрерывно увеличивается во всех зонах общественной жизни. Всеобщий заговор стал столь концентрированным, что выставляет себя напоказ чуть ли не среди бела дня, и каждая из его ветвей может начать стеснять или беспокоить другую, ибо все профессиональные конспираторы доходят до того, что наблюдают друг за другом, в точности не зная зачем, либо сталкиваются случайно, не имея возможности с уверенностью узнать друг друга. Кто кого желает выслеживать? Очевидно, за чью-то плату? А в действительности? Подлинные каналы воздействия остаются скрытыми, а о настоящих намерениях можно только с большими затруднениями подозревать, их почти никогда нельзя понять. Так что никто не может сказать, что он не попал в западню или что им не манипулируют, но лишь в редких случаях манипулятор сам может узнать, оказался ли он в выигрыше. А впрочем, оказаться на стороне, выигравшей от манипуляции, не означает правильного выбора стратегической перспективы. Именно так тактические успехи могут завести в трясину значительные силы, продвигающиеся по плохим дорогам.

В одной и той же сети, добиваясь, очевидно, одной и той же цели, те, кто составляет лишь часть сети, не должны знать всех гипотез и выводов, представленных в других частях, и особенно в их управляющем ядре. Достаточно известный факт, что все сведения о любом объекте, за которым ведется наблюдение, могут также оказаться либо полностью воображаемыми, либо серьезно сфальсифицированными, либо совершенно неадекватно истолкованными, усложняет и в значительной степени делает малодостоверными расчеты следователей, ибо то, что является достаточным для осуждения кого-либо, не столь уж неоспоримо, когда речь заходит о том, чтобы что-то познать или использовать. Раз уж соперничают источники информации, то же происходит и с фальсификациями.

Исходя из таких условий осуществления контроля, сегодня могут говорить о тенденции к снижению его рентабельности по мере того, как его охват приближается ко всей полноте социального пространства и он последовательно наращивает свой персонал и собственные средства. Ибо здесь каждое средство стремится к превращению в цель и действует ради этого. Надзор надзирает за самим собой и против самого себя плетет заговоры.

Наконец, его главное актуальное противоречие заключается в том, что он наблюдает за некой *отсутствующей партией*, проникает в нее и воздействует; и этой партии приписывается стремление к подрыву общественного строя. Но где же видно, что она действует? Да, конечно, никогда еще и условия не были столь опасно революционными, но таковыми их считают лишь правительства. Отрицание настолько абсолютно утратило собственную мысль, что уже давно оказалось рассеянным. Благодаря этому обстоятельству оно сегодня представляет собой лишь какую-то смутную, но тем не менее очень беспокоящую угрозу, а надзор, в свою очередь, лишился самого благодатного поля деятельности. Эти силы надзора и вмешательства как раз и руководствуются насущными потребностями, контролирующими условия их ввода в действие, которые заключаются в том, чтобы всегда присутствовать на той самой территории, откуда исходит угроза, чтобы *подавлять ее загодя*. Вот почему надзор будет заинтересован в том, чтобы самому организовать полюса отрицания, о которых он будет сообщать за рамками опорочивших себя средств спектакля, дабы оказывать влияние на этот раз уже не на террористов, но на теории.

### XXXI

Бальтасар Грасиан – великий знаток исторического времени – с большой настойчивостью говорит в *Новом Критиконе*: «Поступок или рассуждение – все должно соизмеряться со временем. Нужно хотеть, когда это возможно, ибо ни пора, ни время никого не ждут».

Но Омар Хайям менее оптимистичен: «Говоря просто и без иносказаний – все мы пешки, которыми играет Небо; нами забавляются на шахматной доске Бытия, а потом, один за другим, мы возвращаемся в короб Небытия».

### XXXII

Французская революция повлекла за собой значительные перемены в военном искусстве. Именно этот опыт позволил Клаузевицу установить различие, в соответствии с которым тактика считалась использованием сил в сражении для достижения в нем победы, а стратегия – использованием побед для осуществления целей войны. Европа сразу же и на долгий период была поработана результатами этих перемен. Но их теория была создана лишь впоследствии и разработана не по всем пунктам одинаково. Прежде всего учитывали позитивные признаки, напрямую происходящие из глубокой социальной трансформации: воодушевление, подвижность, позволяющую

выживать на местности благодаря относительной независимости от складов и продовольственных обозов, увеличение личного состава. Но эти практические элементы в один прекрасный день уравнило введение в действие подобных элементов с противоположной стороны: в Испании французские войска сталкиваются с народным воодушевлением иного рода, на русском просторе – с местностью, где они уже не могли выжить, а после восстания в Германии – с войсками, намного превосходившими их по численности. Тем не менее последствие разрыва, происшедшего в новой французской тактике, оказавшейся просто-напросто основой, на которой Бонапарт строил свою стратегию – а последняя состояла в использовании побед *загодя*, как бы получая их в кредит, замышляя с самого начала маневр и его различные варианты как последствия, вытекающие из победы, что еще не достигнута, но неизбежно будет добыта при первом же столкновении, – связано еще и с вынужденным отказом от ложных представлений. Эта тактика вынуждена была резко оторваться от ложных представлений такого рода, но в то же время в сопутствующем взаимодействии других вышеупомянутых нововведений обнаружила средства такого отрыва. Недавно завербованные французские солдаты не были способны сражаться в строю, то есть оставаться в своей шеренге и открывать огонь согласно приказам. И тогда они превращались в стрелков и практиковали произвольный огонь, наступая на противника. И вот как раз только произвольный огонь и оказался по-настоящему эффективным: именно таким образом ружейная стрельба, что в ту эпоху было решающим фактором в столкновении войск, производила действительные потери. Между тем во всем мире военная мысль уходящего века отмежевывалась от подобного вывода, и дискуссия по этому поводу продолжалась почти весь следующий век, несмотря на постоянные примеры из практики сражений и непрерывный прогресс в дальноточности и скорости ружейной стрельбы. Аналогичным образом, установление зрелищного господства явилось столь глубоким общественным преобразованием, что оно радикально изменило искусство управления. Это упрощение, которое столь быстро принесло столь значимые для практики плоды, еще не полностью понято теоретически. Многое в мышлении достаточно многочисленных управляющих – повсюду развенчанные старые предубеждения, ставшие бесполезными меры предосторожности и даже следы сомнений иных времен – пока еще несколько препятствует этому пониманию, каждый день укрепляемому и подтверждаемому всей практической деятельностью. Не только поработанных застав-

ляют поверить, будто значительная их часть еще пребывает в мире, который уже устранили, но и управляющие сами порой в некоторых отношениях страдают от собственной непоследовательности, когда уверяют себя в этом. Случается, что они мыслят об одной из сторон того, что они уже уничтожили, как будто она все еще остается реальностью, которой будет суждено присутствовать во всех их расчетах. Но это отставание долго не продлится. Кто смог без труда сотворить такое, обязательно пойдет дальше. Не нужно полагать, что в виде архаизма сумеют вблизи реальной власти долго продержаться те, кто недостаточно быстро понял всю гибкость новых правил игры и род ее варварского величия. Безусловно, судьба спектакля не приведет к тому, что он завершится просвещенным деспотизмом.

Необходимо сделать вывод, что избранной касте, которая руководит господством, и в особенности управляет защитой этого господства, грядет неизбежная и неотвратимая смена. Новизна в таком вопросе, конечно же, отнюдь не будет выноситься на подмостки спектакля. Она придет как молния, которую узнают лишь по ее ударам. Эта смена, которая окончательно приведет к завершению производства зрелищных времен, работает незаметно и, хотя и относится к людям, уже обосновавшимся в самой сфере власти, – конспиративно. Она будет отбирать тех, кто примет в ней участие, согласно следующему принципиальному требованию: им надо отчетливо представлять, от каких преград они освобождаются и на что они способны.

### XXXIII

Все тот же Сарду говорит: «Слово *тщетно* относится к субъекту, слово *напрасно* – к объекту, *бесполезно* означает безо всякой пользы для кого бы то ни было. Мы работали *тщетно*, когда мы что-либо делали без успеха, так что только потеряли время и силы, – но мы работали *напрасно*, когда мы делали нечто, не достигнув предполагаемого результата из-за изъяна в самом изделии. Если я не могу до конца сделать свое дело, я работаю *тщетно*, я бесполезно теряю время и силы. Если же сделанная мною работа не приносит результата, которого я от нее ожидал, если я не достиг цели, то я работал *напрасно*, то есть сделал бесполезную вещь...

Также говорят, что кто-то работал *тщетно*, когда он не возместил затраты на свой труд или когда этот труд оказался непризнанным, ибо в таком случае работник потратил время и силы, не оценив предварительно стоимость своего труда, который притом может быть даже очень хорош».

Париж, февраль – апрель 1988 года

## Вместо послесловия

### СИТУАЦИЯ—I ДЕБОР И ДРУГИЕ

1. **Ги-Эрнест Дебор** (1931-1994) – альтернативный культурный и общественный деятель, самопровозглашенный лидер Ситуационистского Интернационала (СИ), инициировавший его создание (1957), жестко определявший парадигмы его перформативности и, будучи верным *пассионарно-церемониальной негативности* как ключевому принципу революционной выразительности, терминировавший само его существование (1972)<sup>1</sup>. Написанное им «Общество спектаклей» (ОС) (1967) – одно из наиболее значительных исследований современного капитала, культурного империализма, роли *mass media* в общественных отношениях. По роспуску СИ обвинялся в косвенной причастности к убийству Жерара Лебовичи, его друга и издателя. Возмущенный обвинениями, запрещает прижизненный показ своих фильмов во Франции. В 1989 издает Комментарии к ОС. 30 ноября 1994 г. пускает пулю в сердце. Прежде подвергавшийся остракизму посмертно усилиями *mass media* моментально превращается в культурного героя.

2. **Дефиниции** (Définitions. Internationale Situationniste #1, Juin 1958<sup>2</sup>):

*«сконструированная ситуация*: конкретно и произвольно сконструированный посредством коллективной организации целостности окружения и игры событий момент жизни;

*ситуационист*: сообразующийся с теорией или практической деятельностью конструирования ситуаций. Практикующий конструирование ситуаций. Член Ситуационистского Интернационала;

*ситуационизм*: бессмысленное слово, порочным образом извлеченное из предыдущего термина. Нет ситуационизма как доктрины, интерпретирующей факты существования. Очевидно, ситуационизм как термин выведен антиситуационистами;

*психогеография*: исследование точного воздействия, преднамеренного или нет, географической среды, непосредственно воздействующей на аффективное поведение индивидов;

*психогеографический*: относящееся к психогеографии. Проявляющее непосредственное воздействие географической среды на аффективность;

*психогеограф*: исследующий и фиксирующий психогеографические реальности;

*dérive*: экспериментальная поведенческая установка, направленная на выявление принципов урбанистского общества. В частности, может обозначать процесс непрерывного проведения этого эксперимента;

*целостностный урбанизм*: теория комплексного использования искусства и техник интегрального конструирования среды в динамическом соотношении с поведенческими экспериментами;

*détournement*: используется в качестве аббревиатуры для формулы – «отстранение предположенных эстетических элементов»<sup>1</sup>. Интеграция настоящей или прошлой эстетической продукции в высшем конструировании среды. В этом смысле не может существовать ситуационистской живописи или музыки, но лишь ситуационистское использование этих средств. В более примитивном смысле *détournement* в традиционных культурных сферах является пропагандистским методом, выявляющим исчезновение и потерю значимости этих сфер;

*культура*: отражение и проработка в каждом историческом моменте возможной организации обыденной жизни; система эстетики, чувствований и нравов, посредством которой коллектив реагирует на объективно данную ему его экономикой жизнь. (Это термин мы определяем исключительно в перспективе созидания, а не преподания ценностей);

*декомпозиция*: процесс, в котором традиционные культурные формы сами себя уничтожают, вследствие появления высших средств доминирования над природой, указующих и востребующих культурные конструкции высшего типа. Следует различать активную фазу декомпозиции, эффективного уничтожения прежних надстроек (*superstructures*) – фаза, заканчивающаяся к 1930 г., – и фазу повторения, позднее берущую верх. Задержка в переходе от декомпозиции к новым конструкциям обуславливается задержкой в революционной ликвидации капитализма».

3. Движение ситуационистов возникло из **практик леттристов**, во многом наследовавших техникам дадаизма. В качестве принципа практической антикультурной деятельности леттристов Изидор Изу, до 1952 являвшийся декламатором идей группы, утверждал разложение старых социокультурных реалий на составляющие для их последующего спорадического составления в новые комбинации (ср. дадаистские техники коллажирования). Леттристский методический буквализм экспериментально применялся в живописи, кинематографе (в частности, в фильмах Дебора (см. *Hurllements en faveur de Sade*)), поэзии, различных формах антисоциального поведения.

Наиболее известная из акций леттристов имела место на воскресной пасхальной службе в парижском соборе Нотр-Дам 9 апреля 1950 г. Один из участников акции, Мишель Мурре, переодетый в рясу доминиканца, пробрался к амвону и, улучив паузу в течении службы, обратился к молящимся с прозрачным сообщением:

«Сегодня, в святое пасхальное воскресенье,  
здесь, под сводами собора Нотр-Дам-де-Пари,  
я обвиняю всемирную католическую церковь  
в смертном грехе злоупотребления нашими жизненными силами  
во имя неба, которое пусто,  
обвиняю церковь в жульничестве,  
я обвиняю католическую церковь,  
заразившую мир своей кладбищенской моралью,  
раковую опухоль павшего Запада.  
Воистину, говорю я вам: Бог умер!»

– На этом месте разъяренные органисты стащили Мурре с возвышения, а забывшие о любви к ближнему прихожане обратились в стаю охоты, алкающую суда Линча над ним и над вступившими в потасовку его тремя соратниками. Лишь вмешательство полиции не позволило шоу свершиться до конца. Агенты «смерти бога» были арестованы, Мурре отправлен в психиатрическую клинику, в которой позднее претерпел обращение в христианство.

Расколу в среде леттристов послужило поводом подозрение в выдаче Изидором Изу, имевшим виды на карьеру в Голливуде, планов античаплиновской акции леттристов полиции. Созданный в результате раскола «Леттристский Интернационал» (ЛИ) делал акцент на отказе от возможностей получения коммерческих дивидендов от антисоциальной деятельности движения, на отказе от любых форм социального отчуждения, в том числе и отчуждения свободной речи в идеологизирующую систему языка.

Радикальная наивность была стилем их публикаций. Один из текстов журнала «Потлач»: «Всё, что хочет сохранить существующие обстоятельства дел, работает на полицию. Ибо мы знаем: все имеющиеся идеи и установки – неудовлетворительны. Современное общество состоит из леттристов и шпигов, отвратительнейший из которых – Андре Бретон. Нет нигилистов – есть лишь бессильные. Практически все для нас запрещено. Совращение малолетних [в то время – лиц до 21 года; притом, что большинство из самих леттристов не достигало этого возраста] и удовольствие курения гашиша преследуются, как, впрочем, и все наши обычные способы борьбы со скукой. Многие из наших товарищей брошены в тюрьмы по обвинению в кражах со взломом. Мы заявляем протест против штрафов, налагаемых на тех, кто сознательно решил не отчуждать себя в работе. Обсуждать здесь нечего. Дела людей должны иметь своим основанием если не террор, то страсть.» «Все средства годятся для того, чтобы забыться: самоубийство, тяжелые увечья, наркотики, алкоголизм, безумие. ... Живыми нам отсюда не выбраться, но так всегда» (Дебор, «Потлач» №2).

Радикальный потлач, «праздник, не имеющий конца», вот критерий и образец грядущей революции<sup>4</sup>. Торг и опосредование здесь неуместны, дарение должно быть бесконечно. Но дарение *физически* не может быть бесконечно. Смена парадигмы ограниченного физической конечностью агента потлача парадигмой семиотического потлача-ниспровержения сопровождается трансформацией ЛИ в СИ.

4. Создание СИ было инициировано Ги Дебором при поддержке датского художника Астера Йорна<sup>5</sup> в 1957 г. По всей Западной Европе, а кроме этого в США и Алжире, были созданы небольшие ситуационистские группы, общее количество членов которых за все время не превышало и 70 человек. Программа движения была во многом преемственной к программе ЛИ (*dérive, détournement, психогеография, конструирование ситуаций*). В 1962 г. Паоло Маринотти, меценат и коллекционер современного искусства, предложил СИ финансовое обеспечение для создания на небольшом средиземноморском острове экспериментального ситуационистского города, построенного по психогеографическим принципам, где были бы различные эмоциональные кварталы, в том числе и квартал страха. Последовал отказ: ситуационисты (Дебор) желали не воплотить идеал Утопии, но подвергнуть этот идеал доскональной критике; кроме того, возможности позднейших коммерческих злоупотреблений этим проектом для них были слишком очевидны.

Следуя своим принципам – последовательный изоляционизм, противопоставление буржуазной спектаклярности свободной игры индивидуального конструирования ситуаций<sup>6</sup>, – до 1966 г. ситуационисты ограничивали свою социальную активность изданием журнала, открытого для коммуникации с внешним миром лишь презрительной прорезью почтового ящика, на страницах которого вырабатывались перспективы нового «сюр-революционного» искусства. История сама открылась для ситуационистского вмешательства в обращении группы студентов, неопитов ситуационистского дискурса, волею обстоятельств оказавшихся на ответственных постах студенческого комитета университета Страсбурга: «Мы получили немного власти и хотим с ней разделаться ... устроить большую бучу – но как?» «Поступайте, как знаете, – гласил ответ из ситуационистского штаба. – Революционная организация не в праве забывать о том, что ее цель состоит не в приведении масс к послушанию профессиональным вождям, но в пробуждении их самостоятельности». Помимо пары практических советов, студентам была предложена к изданию брошюра ситуациониста Мустафы Хайати «О нищете студенческой жизни, рассматриваемой в ее экономических, политических, психологических, сексуальных и особенно интеллектуальных аспектах, с предложением некоторых мер для ее устранения»<sup>7</sup>, незамедлительно выпущенная ими во злоупотребление



своим положением на общественные деньги тиражом 10.000 экз., осужденная французскими судебными инстанциями как «грязная» и антиобщественная и вскоре переведенная практически на все европейские языки.

Несколько позднее сам Хайати обозначит страсбургские события как небольшой эксперимент, скромную пробу сил в практической деятельности, направленной на интенсификацию кризисных тенденций в современном обществе как таковом. И за «репетицией 1966-го» следует «революция 1968-го», когда группа последователей ситуационистов (*les enragés* – «бешеные») сначала в пригороде Парижа Нантерре, а затем во всем мегаполисе инициируют студенческие волнения, поставившие буржуазную Францию на грань тотального кризиса и едва не принудившее ее правительство к бегству.<sup>8</sup> Два месяца карнавала улиц, освобожденного воображения, триумфирующей декларативности, в частности, выразившейся в телеграмме, посланной в Политбюро ЦК КПСС оккупационным комитетом Сорбонны: «Трепещите бюрократы! Скоро международная власть рабочих Советов выметет вас из-за столов! Человечество обретет счастье лишь тогда, когда последний бюрократ будет повешен на кишках последнего капиталиста! Да здравствует борьба кронштадтских матросов и махновщины против Троцкого и Ленина! Да здравствует восстание Советов Будапешта 1956 года! Долой государство! Да здравствует революционный марксизм! Оккупационный комитет автономной народной Сорбонны.»

Участники *СИ* делали все, чтобы придать бунту «мая 1968-го» наиболее радикальные формы, продолжая организацию массовой борьбы с обществом «мертвого времени» до тех пор, пока радикальность можно было поддерживать в движении масс.

**5. Ситуационистский проект** декларировался его приверженцами как универсальная жизненная установка (искусство жизни, неотчуждаемой опосредованиями политики, искусства экономических и пр. отношений), позволяющая сохранять сингулярность при адекватном реагировании на вызовы общества развитого капитализма. Новизна его, в соответствии с самими принципами движения, никогда не заявлялась: «Наши представления о том, как функционирует мир и почему он должен быть изменен, общи всем – как смутные интуиции, каковые никто никак не возьмется перевести в идеи, потому-то мы и беремся за этот перевод».

Продемонстрировать то, что не лежит на поверхности, структурировать в качестве враждебной для «жизни без пределов» стихии ту порочную спектаклярную организованность мира, препятствующую освобождению желаний, – и является задачей для *Общества спектакля* Дебора.

«Спектакль есть *капитал* на той стадии накопления, когда он становится образом» (ОС, тезис 34). «Спектакль – это не совокупность образов, но социальные отношения между людьми, опосредованные образами» (ОС, тезис 4). Спектакль как контрреволюционная сила действует через партиципализацию (*дефрагментацию*) тотальности протеста и подменяющий реальность симуляцией конфузионизм последующих фальш-синтезов (*рекуперацию*). Фетишизируя свободное время, капитализм эпохи спектакля отчуждает в предмет торга и фальсификации само желание человека. Фантазия уничтожается, свобода перелицовывается в дурную бесконечность потребления, будучи пойманным в ловушку каковой человек становится рабом скуки как современной формы социального контроля. (ОС, тезис 30). Стратегическая цель функционирования спектакля – продуцирование у его жертв *забвения* их собственного *порабощения*; радикальное средство поддержания этого забвения в случаях возникновения особо интенсивных форм протеста – фальсификация самого импульса протеста: «Господствующая идеология низводит до уровня банальности [направленные против нее] субверсивные изобретения и затем, стерилизовав их, распространяет их [уже как товар] в избытке.» (Дебор, *Конструирование ситуаций*)

Противопоставляются тотальности спектакля игровые стратегии обесценивания, направленные на сингуляризацию всех событий, вещей и состояний, – ведь уникальное не имеет цены, и негации, растворяющей субстанциальность предметов торга в динамичности восприятия, ежесекундно разрушающей и вновь созидающей тождества мира, – какой смысл покупать то, обладать чем ты не сможешь? Адамическое производство желаний как способ существования-в-скольжении, конечно же, тоже будет фальсифицироваться обществом спектакля и рекуперироваться в авангардных товарных образцах; так что, чтобы избежать этого, следует удерживать жест сингуляризации в сингулярности или суметь вывести его в тотальность.

**6. Спектакль как некая гомеостатическая среда** социальных опосредований в то же самое время, как он подвергается революционно-артистическому ситуационистскому разоблачению, и даже ранее, становится, под именем «миф», темой семиологического разбора Ролана Барта (Мифологии. II. Миф сегодня. 1957)<sup>9</sup>. *Миф* для этого арьергард-авангардиста есть не что иное, как «удаление реальности» (270); синоним «буржуазной Нормы» (54); порабощения смысла формой; триумфом отчуждающего понятия, торжеством зрелищности над знаковостью, – среда всегда оказывающегося за спиной и оставляющего за собой последнее слово опосредования, противопоставить коему (естественно – конечным образом) можно лишь контр-мифотворческую, демистифицирующую практику критической сослагательности, регрессивной

семиотизации и буквализации, возведения письма в степень «нуль», освобождения означающего.

Отменяя то, что было, миф создает историю, в котором время прямого действия оказывается прошлым: реальное изъято из обращения, воображаемое кастрировано, символическое апроприировано. Дефрагментирующе-рекупирующий функционализм спектакля раскладывается в риторических фигурах буржуазно-мифологизирующей псевдо-физикализации (сс. 278 слл.) <...>

### Литература:

1. Arvon, Henry. Le gauchisme. PUF 1974.
2. Marshall, Peter. Demanding the Impossible. A History of Anarchism. L. 1992.
3. Барт, Ролан. Мифологии. М. 1996.
4. Художественный журнал. №24. М. 1999.
5. Ohrt, Roberto. Phantom Avantgarde. Hamburg 1990.
6. Greil, Marcus. Lipstick Traces. Hamburg 1992.
7. Interview von D. Diedrichsen mit R. Ohrt. In: Texte zur Kunst I. Köln 1990. S. 127-137.

### Примечания

<sup>1</sup> Реферативное представление истории движения см. в статье: Тарасов А. Ситуационистский Интернационал // Художественный журнал №24 сс. 35-37. Там же см. переводы двух небольших текстов по психогеографии: Щеглов И. Катехизис нового урбанизма, Дебор Ги. Введение в критику городской географии. Приводимые ниже цитаты из оригинальных ситуационистских текстов без указания издания даются по материалам Internet-сайтов ([machno.hbi-stuttgart.de](http://machno.hbi-stuttgart.de); [nothingness.org](http://nothingness.org))

<sup>2</sup> Составлено Раулем Ванейгемом (Raoul Vaneigem). Наряду с *Обществом спектакля* Дебора, опубликованная в том же 1967 г. книга Ванейгема *Революция обыденной жизни* (оригинальное название: *Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations*) являлась классической для ситуационистского движения. Методологические разногласия с Дебором привели Ванейгема, активного протагониста движения, к выходу из СИ в ноябре 1970 г.

<sup>3</sup> «détournement d'éléments esthétiques préfabriqués».

<sup>4</sup> См. показательную в этом отношении аффективную ангажированность праздничной атмосферой революции 1848 г. у Бакунина в «Исповеди». Ср. Arvon, H. (1974), p. 99.

<sup>5</sup> Представитель северного крыла позднего сюрреализма. член группы «Кобра».

<sup>6</sup> См. текст Дебора «Конструирование ситуаций» 1957 г. (часть «На пути к ситуационистскому Интернационалу»): «Наша основная идея – это конструирование ситуаций. т. е. конструирование [посредством практики *dérive* и *détournement*] краткосрочных сред существования и их преобразующее возведение в более высокое качество страсти ... Необходимо [преследуя цели целостного урбанизма и интегрального искусства] играть на максимальном разрушении внутренней гармонии ... Всеобщей целью должно стать, с одной стороны, расширение неусредненного массива жизни и как можно более последовательная борьба против пустого времени, с другой ... Конструирование ситуаций начинается с сегодняшним крахом понятия спектакля [и его принципа спектакулярного невмешательства – формой отчуждения эпохи массовой культуры] ... Роль «публики» должна минимизироваться, и ее место все более следует занимать не столько «актерам», сколько «людям жизни», в новом смысле этого выражения. Нужно преумножать число поэтических вещей и субъектов, к сожалению, столь редких в настоящее время. что даже ничтожнейшие из них получают преувеличенное значение ... Такова вся наша программа, которая в существе своем является программой переходной. Наши ситуации – без будущего, они – точки выхода. Неизменности искусства – или чего бы то ни было другого – не место в нашем строе мысли. Часть «Наши непосредственные задачи»: «... в измерении страстей бороться против пропагандистских методов воздействия высоко развитого капитализма, конкретно противопоставляя капиталистическому образу жизни другие, желаемые; всеми гипер-политическими средствами разрушать буржуазный гештальт счастья. ... Мы должны утверждать лозунги целостного урбанизма, экспериментальных установок, гипер-политической пропаганды и конструирования настроений. Страсти уже достаточно интерпретировали – теперь дело заключается в том, чтобы обрести новые!»

<sup>7</sup> «Пресловутый «кризис университетов» есть лишь деталь более общего кризиса современного капитализма... Студент – это такой же продукт современного общества, как Годар или кока-кола ... Бунт молодежи против общества [будучи партикуляризированным, встроенным в спектакль] только успокаивает общество, оставаясь, в его представлении, частным феноменом внутри резервации «молодежных проблем» ... «Молодежь» как она есть – это рекламный миф ...» Не ограничиваясь описанием мизерабельного положения студенчества в современном мире, Хайати анализирует реальные революционные возможности различных движений протеста от американских рокеров и советских хулиганов до японской «Революционной коммунистической лиги» и ультралевых группы «Социализм или варварство» и демонстрирует спектр ситуационистских идей и лозунгов: «Вся власть рабочим советам ... Целостная критика мира есть гарантия соразмерности и истинности деятельности революционной организации ... Задача рабочих советов – конкретное снятие товарного производства, ... что значит – упразднение работы и ее замена новым типом свободной деятельности. ... устранение разделения между «свободным» и «рабочим» временем как взаимодополняющими частями отчужденной жизни. ... Пролетарий – это тот, кто не властен над собственной жизнью и знает об этом. ... Пролетарские

революции станут праздниками либо не свершатся вовсе. ... Игра – последнее основание этого праздника; жизнь без мертвого времени и наслаждение без пределов – ее единственные признанные правила».

<sup>8</sup> Из телевизионного обращения Шарля де Голля 7.7.1968: «Этот взрыв был вызван определенными группами лиц, бунтующими против современного общества. общества потребления, механического общества, как восточного, так и западного, капиталистического типа. Людьми, не знающими, чем бы они хотели заменить прежние общества, и обожествляющими негативность, разрушение, насилие, анархию, выступающими под черными знаменами».

<sup>9</sup> Источники для ситуационистских меланж-теорий столь же бросаются в глаза, сколь и являются проблемой: Гегель, Маркс и Лукач в отношении понятий отчуждения и отрицания; критика марксизма со стороны анархизма; критика сталинистской бюрократии Троцким и сюрреалистическая интерпретация троцкизма; критика повседневности и теория момента А. Лефевра; дадаистские практики остранения и *happening*'а; психогеографические опыты Бенямина в «Einbahnstrasse» и «Passagen Werk»; освобождение желания в метаспсихоанализе В. Райха.

научное издание

Ги-Эрнест Дебор

*Общество спектакля.*

Комментарий к *Обществу спектакля*

Перевод с французского –  
Пер. Ст. Офертаса, М. Якубович  
Ред. Б. Скуратов, О. Никифоров

Издательство “Логос”  
Москва, Зубовский бульвар, 17  
Тел: 2471757  
ЛР № 065364 от 20.08.1997

Подписано в печать 21.12.1999. Формат 60х90/16.  
11,5 печ. л. Гарнитура Times.  
Печать офсетная. Тираж 5000 экз.

Отпечатано с пленок в ППО «Известия»  
103798, г. Москва, Пушкинская пл., 5. Зак. 5780.



ОЧУ ЕЩЕ

ΔΑΡΟΝ - ΝΑΒΟΥ ΧΑΒΕΙΝ

Millennium  
Love 2000

Воля к модернизации и унификации спектакля, связанная со всеми остальными аспектами упрощения общества, привела русскую бюрократию в 1989 году к тому, чтобы, вдруг, как один человек, обратиться к современной идеологии демократии - то есть, к диктаторской свободе Рынка, смитченной признанием Прав человека-зрителя. Никто на Западе и дня не посвятил обсуждению значения и последствий столь экстраординарного информационного события. И этим только подтверждается прогресс зрелищной технологии. Она должна лишь регистрировать ~~катастрофы~~, напоминая геноцид самого толчка. Феномен датируется и считается совершенно ~~незамыслимым~~; впрямь же воспроизводя только простейший сигнал - падение Берлинской стены, - не подлежащий обсуждению, как и все прочие демократические сигналы. В 1991 году первые слезы модернизации проявились в полном распада России. Там еще более откровенно, чем на Западе выражается катастрофический результат общего развития экономики. Хаос - лишь последнее таковое. Повсюду ставится все тот же угрожающий вопрос: вопрос, который довлел над миром вот уже два столетия: как заставить работать бедных там, где рассеялись иллюзии и ~~просто~~ насилие?